



Собрание сочинений

**Юзеф Игнаций
Крашевский**

Сын Яздона

История Польши

Юзеф Игнаций Крашевский

Сын Яздона

«Э.РА»

1879

УДК 821-3
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

Крашевский Ю.

Сын Яздона / Ю. Крашевский — «Э.РА», 1879 — (История Польши)

ISBN 978-5-907291-30-0

Роман «Сын Яздона», десятый роман из цикла "История Польши" знаменитого польского классика Ю.И. Крашевского переносит читателя в Польшу середины XIII века. Нашествие татар, раздробленность, междоусобицы... На краковском троне – Болеслав Стыдливый, благочестивый князь, который с трудом пытается удержаться на престоле. Павел, епископ Краковский, участник битвы с татарами под Лигницей, плетёт заговоры сначала против Болеслава, потом против Лешека Чёрного, пытается добиться власти... Из отрывочных сведений хроник Крашевский сумел воссоздать жизнь Павла из Пжеманкова, человека коварного, хитрого, жадного до власти. На русском языке роман печатается впервые.

УДК 821-3
ББК 84 (2Пол=Рус) 6-4

ISBN 978-5-907291-30-0

© Крашевский Ю., 1879
© Э.РА, 1879

Содержание

Том I	6
Пролог	6
I	6
II	14
III	21
IV	29
V	36
VI	45
I	55
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Юзеф Игнаций Крашевский

Сын Яздона

*Др. Вейглу, вице-президенту города Кракова, в память о
совершённом с ним путешествии, дарит Автор.*

Дрезден.

Ноябрь 1879.

© Бобров А.С. 2020

Том I

Пролог

I

Серо было на земле и небо заволокло серым пологом.

Над тёплыми ручейками едва где проступала щуплая, бледная, весенняя зелень, над которой торчали высохшие, мёртвые стебли и промокшие травы прошлого лета.

Стоявшие у ручья ивы уже покрывались пухом, словно будущие листья хотели укутаться им от холода, но листьев ещё не было, а почки были тщательно укутаны и закрыты. Рано прилетевшие аисты грустно бродили по долинам, стояли на болотах, стряхивая уставшими крыльями долгое путешествие.

Над землёй пролетал жаворонок, смотрел в небо, а его песенку подавлял в клювике холод, а глаза напрасно искали наверху лазурные небеса.

Грустно было на свете, только стаи воронов носились в воздухе, шумные, крикливые, весёлые какой-то страшной насмешкой над этим трауром. То садились на сухие ветви деревьев, то срывались кружить в воздухе. И кружились, словно пьяные, то поднимаясь вверх, то падая, ища какой-нибудь обещанной добычи.

Чтобы увидеть, где она была, они взлетали иногда в облака, а, не увидев её, садились на деревья и землю. Со всех сторон собирались они тучами, как на вечерней сигнал, как на призыв к войне. Когда они спустились на луг, почерневший от них, он двигался, словно лежащее чудовище, а когда срывались в облака, извивались в них как чёрный дракон, а когда каркали, не слышно было ни шума деревьев, ни свиста ветра, ни щебетания иных птиц, ни журчания ручейков, которые от дождя и снега переполнились...

В пустой долине, на опушке леса, стояла хата, вместо забора окружённая ветвями, нагромождёнными высоко в кучу, так высоко, что едва за ними была видна соломенная, закопчённая крыша с поломанным дымоходом. Хата стояла одиноко, в уединённом месте, среди пуши, высунувшаяся как страж – словно столб, вбитый в знак того, что там, где недавно царили одни животные и пустошь, начиналась человеческая жизнь.

Над крышей шёл дым, изо всех щелей выходили синие клубы пара, лениво висели над ней и вытягивались, сонно сновали вокруг и ложились на долину. Им хотелось подняться на верх, чтобы ветер не разорвал на частицы.

Ворота были открыты, точно стадо уже вышло пастись в лес, на молодые ветки и почки. Иногда мимо ворот проскальзывала белая юбка женщины и исчезала. Напротив ворот сидела большая лохматая собака и смотрела вдаль, то зевая, то рыча. Когда она глядела на стаи воронов, вздрагивала, срывалась, словно хотела на них броситься, но её собачий разум говорил ей, что против них она бессильна.

Она потягивала носом воздух. Ветер приносил ей разные новости, собака реагировала на них гневно, понимая эту речь запаха, который прилетал к ней издалека. Для неё были и от зверя в лесу ведомости, и от людей вести, и от чужих бродяг запах гари, и сверху с небес предостережения, и снизу земные языки.

Поэтому собака выставляла нос и мотала головой. Много ей приходило, не всё понимала, злилась всё больше, всё сильнее, даже встала, сорвалась пойти и снова села, потом бросилась с лаем вперёд – и отпрянула, опуская задумчиво голову.

Из хаты выскользнула девушка, пришла её приласкать. Та повернула голову, полизала руку, но осталась на страже, имела чувство долга... Её уши и шерсть на спине щетинились.

Утомлённый ветер застрял где-то в лесу, наступила тишина. Стаи воронов полетели к лесу, одна пуца шумела теперь глухо и мрачно. Среди молчания можно было различить топот и крики, топот – будто стада, которое гнали, крик – будто бы людей, то прерывистый, то насмешливый, то испуганный – за ним смех и крики.

Собака встала и вся затряслась, сорвалась, пробежала несколько шагов вперёд и, чувствуя себя бессильной, присела, подняла вверх морду – завывала. Она выла отрывисто, потому что одновременно слухала, глаза её сверкали, шерсть уже вся щетинилась.

С другой стороны долины по перешейку из леса стремительно бежала к хате отара бурых, чёрных и белых овец, разбитая и рассеянная. Впереди бежали коровы с задранными кверху хвостами. Они в панике, как безмунные, рассыпались по долине во все стороны, ища дорогу к хате.

Тут же за отарой, за коровами, за кричащими пастушками промелькнул всадник, с ним ещё двое и свора собак. Собаки носились за овцами, душили их, хватали, калечили, и когда какая-нибудь прижимала к земле барана, с коня раздавались весёлые крики.

Топот и шум разбудили людей в хате, все выбежали к воротам. Старик с седыми волосами, женщина в белой завите, девушка в венке, с длинными косами, маленький мальчик, наполовину нагой.

Собака яростно лаяла, но, бессильная, отступала также к воротам и выла. Тут же испуганный скот, что бежал впереди, не обращая внимания на людей, начал, как безумный, проталкиваться в ворота. Овцы, которые избежали собачьих зубов, как пьяные вбежали на задний двор. Тут же за ними гнались огромные псы с окровавленными пастями, за ними – три всадника.

Они их гнали, веселясь, крича, смеясь.

Первый, который ехал впереди, был паном или панским сыном, потому что конь под ним был нарядный и красивый, с разодранными ноздрями, с пылающим глазами, он чувствовал, что нёс на себе такое, что имеет право всё разбивать.

Паныч, который на нём сидел, едва вышел из детских лет.

Подросток был тонкий, гибкий, сильный, всё лицо от усталости было аж кровавое, глаза чёрные и огненные, длинные волосы на плечах, на голове колпачок с перьями, на нём вся обрамлённая шитая одежда, увешанная верёвками, позолоченный рог через плечо, лук, обшитый пояс, блестящий нож сбоку. Все эти украшения были бы ничем при облике юноши, таком дерзком, таком распалённым дикой радостью, каким-то безумием, что, казалось, вызывает мир на бой. В жилистой руке он поднял вверх копыё и махнул им, раззадоривая своих собак.

– Ату его!

Хотя его открытый рот смеялся, белые зубы, казалось, кусали, кровавые губы тряслись, на молодых щеках дрожала безумная кровь – он был опьянён собой и молодостью. Два товарища также летели за ним сломя голову, разгорячённые, как собаки, его криком, но среди этого безумия, когда переглянулись, по ним пробежал какой-то страх; вдруг что-то закрыло им рты: страх или сострадание.

Собаки, всадники, стадо почти все вместе толкались в воротах, которые старец напрасно хотел закрыть.

Наконец он их бросил. И он и женщины побежали, испуганные, к хате. Только девушка, которой было жаль овец, а страх подкашивал ноги, замешкалась на пороге.

С коня молниеносно соскочил паныч и схватил её уже наполовину бессознательную и кричащую. Посмотрев в её голубые влажные глаза, он схватил коня, который, отделившись от пана, только что отряхнулся. Два товарища стояли в изумлении, когда парень со своей ослабевшей и зовущей на помощь добычей уже стал снова садиться на сивого.

– Эй! Вот это добыча! Это добыча, которую я давно подстерегал! – крикнул он, дико смеясь. – Поехали с нею в лес!

Девушка, поднимая руки, звала на помощь, но дверь хаты была заперта, никто не осмелился выбежать на защиту, только одна собака схватила паныча за ногу, но затем две огромные его гончие с кровавыми пастями напали на неё и задушили.

Во дворе они уже много натворили. Молодой бычок лежал на земле растерзанный, с остекленевшими глазами, а кровь, которая текла из его горла, жадно хлебали псы... Несколько овец тяжело дышало и блеяло.

Мальчик смеялся громким голосом.

– В лес! – воскликнул он. – Уходила ты от меня не раз, когда я гонялся за тобой на ягодах... пришло твоё время...

Дверь хаты неожиданно отворилась, из неё выбежал седовласый старик с заломленными руками.

– Смилуйтесь! Смилуйтесь! – стонал он.

На его крик прибежали панские псы и начали раздирать его одежду, стали кусать тело.

Он не чувствовал этого и кричал:

– Смилуйся!

Молодой безумец не слушал. Два товарища побледнели, безумие сошло с их лиц, страх и ужас их перекосили. Смотрели то на пана, то друг на друга. Колебались. Он ни на что не обращал внимания, в сильных руках держал девушку, сажал её уже на коня и сам за ней усаживался.

Старик, которого кусали псы, волоча его за собой, прибежал и, стоя, схватил его за ноги. Из хаты показалась рыдающая женщина, ломая над головой руки и воя нечеловеческим стоном.

Всего этого мальчик не слышал, натягивая поводья коня и уже приближался с девушкой к воротам.

Затем в воротах вдруг показался всадник.

Человек был старый, на сильном коне, в простой епанче, с непокрытой головой. Через плечи у него висела на верёвке охотничья труба из простого рога.

Его седые волосы были разбросаны ветром и рассыпаны по плечам и лицу. У него было бледное, как у трупа, лицо, глаза – угасшие и страшные, лоб – сморщенный в толстые складки, широкая грудь учащённо дышала. В нём чувствовалась великая сила и некая мощь, такая, что, когда его глаза встретились со взглядом мальчика, красный, обезумевший паныч побледнел, зубы его заскрежетали.

– Дьявол тебя сюда принёс, Воюш! – закричал он вдруг, приходя в бешенство и напрасно пытаясь выскользнуть из ворот с девушкой.

Воюш стоял поперёк как стена, прерывисто дышал, говорить ещё не в состоянии, и хотя не говорил, этим дыханием был грозный, – всё в нём кипело.

– Павлик! Отпусти немедленно девушку! – закричал он наконец сильным голосом.

Что-то было в этом голосе такое повелительное, что руки, державшие пойманную добычу, потеряли силу, и девушка, пользуясь этой минутой, выскользнула как змея, съехала на землю, побежала к старцу, который её подхватил, а с ним в хату...

Дверь с громким стуком захлопнулась.

Собаки, которые преследовали их, бились мордами о дерево – внутри упала задвижка.

Когда от него ускользнула добыча, Павлик уже её не преследовал, но стал в ярости бросаться на Воюша и грозно сверкать глазами. Тот не испугался. Смотрели так друг на друга, воюя взглядами, похожими на молнии, пока мальчик не опустил голову.

Старый Воюш дышал ужасом, какая-то отчаянная боль была в нём видна.

– О! Ты, недостойный сын Яздона! – произнёс он голосом грубым и рычащим. – Кто бы в тебе узнал отца? Для того мы тебя воспитали, для того я тебя на руках носил, чтобы ты стал убийцей и шутом? У тебя ещё усы не выросли...

Он поднял кулак вверх...

– За мной! В замок! – добавил он. – За мной! На этот раз я не утаю от старика, нет! Довольно этих выходов. Мы тебя не сдерживаем, я старый, на тебя нужно железную руку.

Он посмотрел на кровавые жертвы собак.

– Ох уж твоя забава! Твоя охота! Мало тебе зверя в лесу, нужно бедному загороднику душить отару своими псами, яростными, как ты! И их ребёнка хотел украть!

Павлик слушал как окаменелый, но в нём дрожал гнев.

Воюш кивнул.

– В замок! Собак на верёвку! Твои слуги пана стоят!

Он повернулся к двум сопровождающим, которые вскоре соскочили с коней. Павлик ещё стоял и молчал, когда Воюш громко повторил:

– В замок!

Юноша повернул голову и забормотал:

– Долго ты думаешь мне приказывать? Ты?

– Пока меня отец твой от этого бремени не избавит, – ответил Воюш, – пока я за тебя отвечаю перед Богом, Яздомом и памятью твоей матери. В замок! – повторил он ещё раз.

Но наглый, упрямый мальчик не двигался.

– Я прикажу тебя связать и повезу как барана! – крикнул старик. – Потом упаду отцу в ноги, пусть с тобой делает, что хочет. В замок!

Собаки уже были на верёвках и, уставшие, сидели, учащённо дыша и облизывая кровавые рты. Слуги послушно сели на коней, только Павлик не двигался. Воюш приблизился к нему, дёрнул за узду его коня. У юноши дрогнула рука, в которой держал копьё, словно собирался защищаться, – и опустилась.

Он что-то забормотал, опустил голову и дал шпоры коню.

Они молчали, выезжая со двора, только Воюш дышал ещё гневом. Павлик, со злостью поглядывая на старика, позволил коню следовать за ним, слуги тащили за собой собак. Так они выехали со двора, а дверь хаты ещё открыть не смели, и те были уже в нескольких стаях, когда сначала отворилось окно и высунулась седая голова, потом, качаясь на окровавленных ногах, выбежал старик, ломая руки, остановился поглядеть облитое кровью поле боя. У порога лежал старый домашний друг, пёс с вытянутым языком и вылезшими из черепа глазами.

Пустив Павлика вперёд, Воюш ехал за ним следом, подальше ехали слуги, разговаривая шёпотом друг с другом, рвение и веселье которых прошли. Они хмуро поглядывали друг на друга, то на паныча, то на старика, который, выехав в поле, вдохнул воздух широкой грудью, сплюнул раз и другой и, грозно смотря на молчавшего мальчика, начал говорить наполовину ему, наполовину себе:

– А! Прекрасный ты сын храброго Яздона, комеса на Пжеманкове, которого князья почтили и вызывали на советы, которого Лешек, благословенной памяти, хотя бы больного, на каждый суд вызывал, а когда он слово рёк, оно стоило десяти иных!

А! Прекрасный ты сын славного родителя, добрый воспитанник старого Воюша, который его с колыбели разуму учил и добродетели! На что всё это пригодилось? На что? О стену горох! Каким отростком было, когда сожал, таким и выросло, – стручком. В колыбеле нянькам волосы вырывал и лица царапал, собак и кошек мучил – теперь скоту и людям покоя не даёт! Прекрасный сын Яздона! Хорошее утешение родителю! Отпустишь его с глаз на час, не вытерпит, чтобы крови не вкусить, кому-нибудь не напакостить, бедным людям не навредить! Сын Яздона! – повторял старик, то издевательски смеясь, то воспаляясь безудержным гневом.

Он бурчал так, а молодой, как под хлыстом, ехал с опущенной головой, не оборачиваясь, точно не слышал. Иногда прищипоривал коня, чтобы сбежать от этих слов, но старик его догонял.

Хотя Павлик не оборачивался и не хотел дать узнать по себе, что чувствовал горячие слова, которыми его стегали, порой непреднамеренно выдавал, что страдал. Дрожали его плечи, он вытягивал руки, двигал головой, не оборачиваясь, ногами душил коня. Так сдерживал в себе юноша гнев, пока, наконец, не вспылит:

– Эй ты! Старый негодяй! Молчал бы! Гнилой гриб! В тебе уже и крови нет ни капли – сиди у огня, грейся, а молодым тебе не приказывать. Думаешь, что меня ты или кто-нибудь словом или кулаком задержит, когда во мне кровь заиграет и закипит? Разве её поп остановит? Или её страх остудит?

Он дико и издевательски рассмеялся.

– А зачем мне жизнь, если проводить её связанным в углу? Я не монах, мне нужна свобода... я должен всего вкусить и порадоваться жизнью... На покаяние и разложение достаточно будет времени.

– А кто же тебя будет держать в яме и закуёт в колодки? – закричал сердито старик. – Отпустят тебя всё-таки!

Отпустят в свет! Тебе едва девятнадцать лет. Пойдёшь! Пойдёшь! Только бы вернулся... А ну, сегодня ты ещё юнец!

– Нет! – отрицал Павлик. – Кривоуст младше был, когда воевал, другим жён давали в этом возрасте! А я что? Во дворе мне прикажут бегать, как лошадь на верёвке, за ворота не выходи! Ксендз полдня держит в заключении над книгой и голову забивает тем, что мне не нужно! Писарем я не буду... канцелярства не хочу! Ты, дуралей, таскаешься за мной, как тень, чтобы я сам себе даже носа не вытер. Что удивительного, что, когда вырвусь, шалею! Эх, ты, старик, будто ты не знаешь, что, если в дамбе перекроешь воду, то она и гать, и мельницу, и дом унесёт!

Старик вздрогнул, он был зол ещё, но видно было, что речь юноши на него действовала, она почти его радовала. Она разоружала его. По его губам проскользнула улыбка. Однако хотел быть неумолимым и гневным.

Так они ехали дальше, то и дело споря.

– О! Проповедник из тебя хороший! – говорил старик. – Больше у тебя язык, чем степенность. Если тебя, как теперь, поймать на месте преступления, сумеешь отделаться ложью. Юнец, молоко на губах не высохло, а уж ему чужую девушку захотелось. Что ты знаешь о девках, ты, что на поводке ходил!

Павлик фыркнул и ничего не отвечал, а когда старик замолчал, проговорил:

– Я бы не съел её! А оттого что это девка большого заградника, разве её запрещено трогать пану? Как гриб выросла на моей земле...

– Молчал бы, головастик этакий! – прервал старик. – Достаточно мне этого! Думаешь, что Ендрик не придёт к нашему милостивому пану жаловаться? Ему же полстада твои негодные псы передушили! Его покусали, а девка заболит от страха.

Павлик снова рассмеялся.

– Девка разболеется от страха! – крикнул он. – Брось, старик, она видела, что я не волк, не оборотень и крови её пить не буду. Завтра была бы смелая...

Он всё больше пренебрегал гневом старика, приходя в себя, и уже начал посвистывать. В этой деланной весёлости было, однако, немного тревоги.

– Старому Ендрику, – прибавил он, – за свиней и за страх что-то дают.

– Кто даёт? Что даёт? – кричал Воюш. – Ты, молокосос, ничего не имеешь, ты на отцовской милости. С паном отцом, ты знаешь, шутки плохи!

Павлик за весь ответ пожал плечами.

– Он наполовину мёртвый, – продолжал Воюш дальше, – но той половины, что жива, будет достаточно, чтобы дать тебе хорошее напоминание.

– Если ты на меня пожалуешься! Ты! – вставил Павлик.

– А я должен утаить? Душу погубить? Дать тебе безумствовать, чтобы ты совсем распо-
ясался, – воскликнул старик. – Не дождёшься! Я жалел тебя, достаточно, слишком... Время
в железные клещи взять!

– Время мне волю дать! – прервал молодой.

– Ты веришь в то, что я тебя вырастил, твои выходки скрывал, но уже этого достаточно.

Они выезжали из долины и чащи; на поле, на взгорье можно было увидеть большой двор,
валы и воду вокруг, между деревьями торчащие крыши, полубашни, и сторожевые башни.

Был это Пжеманковский замок. Если ехать к нему так, как они ехали, уже и получаса
дороги не было...

Молодой, должно быть, рассчитывал, что этого времени старику хватит, чтобы выгово-
риться. Для большей уверенности он замедлил шаг так, что ехавший наравне с ним старик
оказался рядом с его конём – и первый раз посмотрели друг другу в глаза.

Юноша, который уже остыл, улыбался, старик бурчал, тоже значительно остыв. Только
пот со лба вытирал. Они ехали приличную часть времени, ничего не говоря друг другу.

Теперь, когда страсти в нём утихли, возбуждённая кровь успокоилась, юноша выглядел
красиво, цвёл буйной молодостью.

Само его безумие имело некоторую прелесть, которому старый надзиратель мог под-
даться. Это легко было понять.

– Если бы я не пошёл в конюшни осматривать больного панского коня, – отозвался
Воюш, – коня, на котором он уже никогда сидеть не будет, а каждый день приказывает его к
себе приводить... если бы не этот конь! Я бы не дал тебе вырваться с собаками и с теми него-
дяями, что за тобой пошли на разврат.

Что с тобой отец сделает – баню или пытку – это его дело, но что я (добавил он, с кула-
ком обращаясь к всадникам сзади), что я этими лозами до крови кожу исполосую, это так же
верно, как то, что я сейчас жив, и что зовусь Воюшом, и что клич Полкоза, и что тебя трутнем
воспитал...

– А знаешь, почему ты меня трутнем и шалопаем воспитал? – довольно холодно сказал
Павлик.

– Знаю, потому что я был слишком добрый, – крикнул старик. – Нужно было сечь и сечь,
и бить, и душу слушать, ничего не прощать... Я глупцом был и часто смеялся, когда нужно
было плакать.

– А! Нет! Нет! – прервал Павлик. – Если бы ты меня так не нянчил, на поводке не водил,
дал мне заранее набаловаться, как холопским детям, вкусить свободы, и шишек себе набить,
тогда бы я теперь до свободы и шишек так лаком не был.

Старый Воюш, услышав эти слова, с некоторым удивлением покачал головой. Может, в
душе признавал их правоту, а подтвердить их не мог и не хотел. Уже приближались к Пжеман-
ковскому двору. Воюш, который недавно из него выскочил, преследуя потерявшегося воспи-
танника, потому что знал, что, если он вырвется, устроит что-нибудь безумное, глядя на замок,
качал головой, потому что около него делалось что-то необычайное.

Это был пустой уголок, затерянный в лесу, большие тракты туда не вели, редко наведы-
вался кто-нибудь чужой. Возле замка чужих людей едва несколько раз в год можно было встре-
тить, да и то или принадлежащих к кличу Полкозов, или заблудившихся в пуще.

Теперь же под валами кишело людьми. С нескольких сторон виднелись вооружённые
группы, направляющиеся к замку.

Некоторые уже в посаде разложили лагерь, словно для них внутри не хватало места. Это
был такой необычный вид, что Павлиа он удивил.

– Смотри-ка! Что это? – воскликнул он. – Что там за люди пришли?

– Вижу, но ей-Богу, не знаю, кто это, – отпарировал уже очень тронутый этим явлением и беспокойный Воюш. – Я всё-таки недавно выехал из замка, не ожидали там никого; ни о ком слышно не было. Это какие-то вооружённые группы!

В Павлике заиграла кровь, глаза его заискрились, он не говорил ничего. Старик угадал, что ему хотелось к тем вооружённым группам.

Юноше тоже было на руку, если бы в замке что-нибудь произошло, что смешало порядок и могло дать о нём забыть.

Воюш был так удивлён и смущён этим, что перестал юноше делать выговоры и забывал его ругать. Он ехал с нахмуренными бровями, думая и догадываясь о том, что могло случиться, отчего к старому Яздону столько человек приехало.

Этот Яздон, Полкоза, могущественный пан, при Казимире и Лешке прославившийся в княжеском совете и на войнах, причислял себя к баронам и комесам, пока хватало сил, пребывая около двора и войска.

После той несчастной Гонсавы и после княжеских междоусобиц, которые потом тянулись немало лет, руки его ко всему опустились. Вряд ли из них что-нибудь хорошее могло выйти.

У Яздона на сердце и уме было одно: снова восстановить ту славную монархию Мешков и Больков и сосредоточить власть в одних руках, а тут земли и поветы всё больше распадались.

Отделялись княжества, множились, земли и замков едва для них хватало. Каждый брал себе какой-нибудь участок и сражался за него хотя бы с родным братом, хотя бы с отцом, чтобы как можно больше вырвать земли, а потом было что между детей делить.

Уже тогда этих уделов было не счесть, а войн не остановить. На шее висели Русь и половцы, языческие пруссаки и Литва, что набирала силу. Вокруг росли сильные королевства, отовсюду вставали полчища врагов, а на земле Мешка клокотало и кипело, и все поедали друг друга.

Яздон, хоть сначала держался с Лешком, когда его не стало, а князя Силезские, которые страшно онемечились и также делились землёй, не много обещали, он всей душой и телом пристал к Конраду Мазовецкому.

Это был кровавый пан, страшный человек, но такой муж, что мог всех завоевать и под один плащ всю землю захватить.

Невозможно было ему верить, так как слова нарушал, нельзя его было любить, потому что он никого не любил, но руку имел жилистую, могучую, и голову, в которой укоренилась одна мысль, – широко царствовать.

Таким образом, Яздон служил ему, поддерживал и весь был с ним, почти не слезая с коня, потому что, если не бился, то шпионил, служил послом, хватал пленных, будучи готовым совершать самые плохие услуги, чтобы однажды это тело, распавшееся на куски, снова начало срастаться.

Но никакой труд не помогал, потому что не подошёл ещё час, который Господь назначил, чтобы произошло то чудо, о каком поведали у могилы мученика Станислава, – что его четвертованное тело орлы снова собрали по кусочкам, и оно сросло, как было при жизни. Яздон пал духом, не желая уже смотреть на увечье своей земли и, как однажды вернулся, чуть раненный на войне в плечо, осел уже дома и больше выезжать не хотел.

– Глаза мои не увидят того, чего желает душа! – молвил он.

Потом отпустил старик бороду и сидел в своём Пжеманкове; сразу у него, то ли от той раны, то ли от той грусти, половина тела отнялась, так что жил одной половиной, а другой был как мёртвый. Один глаз у него навеки закрылся, половина рта не двигалась, одна рука и нога бездействовали.

Всё-таки лежать так, как колода, он не хотел. Он провёл жизнь на коне и на ногах и теперь не мог усидеть в избе.

Поэтому у него было двое плечистых мужчин, невольников-русинов или половцев, с постриженными головами, сильных как медведи, что вола бы на плечах унесли. Тем он приказал носить себя, иногда по целым дням. Они брали его на руки, а левую руку его, которая была мёртвой, один вешал себе на шею, и так должны были таскать старика по крепости, по сараям, по валам, поднимать его. Менялись только то направо, то налево, переходя по очереди, так как ни один целого дня на одной стороне не выдерживал. Поскольку старик был злой, ужасно порывистый, когда сердился, рукой, которою владел, лупил и бил, или дёргал носильщиков за волосы, синяки набивал, даже и до крови бил не раз.

Нуха и Муха, два невольника, переносили это в молчании, едва кто-нибудь из них смел вытерпеться, когда его кровь текла.

Они привыкли к этому. Кормил их также и поил, как скот на убой, что в них влезало. Мало при нём могли отдохнуть, потому что и ночью должны были лежать у порога, дожидаясь вызова, а старик, когда ему что-нибудь приходило в голову, будил их иногда ночью, велел зажигать факелы и по саду носить.

Человек был строгий, вспыльчивый, но также справедливый.

Говорили о нём тихо, что в домашней жизни в давние времена больше себе позволял, чем подобало, – жестоко безумствовал и жил языческим обычаем. Когда потерял жену, которая, дав ему сына, умерла, двор был как у дикарей, полон разных женщин, которых покупали для него в далёких странах. Пили также без меры и жестоко проказничали... Не один убитый был у Яздона на совести, но за кровь обильно платил и каялся, но лишь бы его кто задел, назавтра снова головы готов был рубить.

Единственного сына он отдал воспитывать Воюшу, который был ему каким-то родственником. Сова заложил и распродал отцовское наследство, потом однажды пришёл к Яздону, оборванный, и сел у его огня, говоря:

– Отсюда уже не пойду. Последний кусок земли я отдал за двух соколов, двух собак и епанчу... Соколы мои пропали, собаки перегрызлись, епанча порвалась... теперь вы меня кормить должны, потому что своя кровь, не можете дать ей запятнаться. Я Полкоза!

На это ему Яздон сказал:

– Живи, но возьми моего сына в добрые руки и держи в строгости, потому что в нём так же, как когда-то во мне, кипит безумная кровь. Послужишь за хлеб, потому что тебе эта бестия глаза выдерет... Никто его не удержит, только, пожалуй, другой Полкоза, как мы.

А был ребёнок Яздонов истинный молодой барсук, которого стоит только коснуться, укусит. У Воюша с ним была непрерывная война, иногда вынужден был и сечь, и страшно наказывать, хотя это не помогало, потому что побитый мальчик становился ещё хуже. Потом ему добавили из Кракова клирика костёла св. Ендрея, полуксендза, который должен был его религии обучать и к какой-нибудь науке расположить. Звали его магистром Зулой, тот горькими слезами оплакивал свою долю, так был этот Павлик невыносим. Иногда жаловались отцу, он велел сечь, связывать, морить голодом. Павлик давал себя хлестать, стиснув зубы, не пикнул, или тех, что его держали, кусал за руки. Давал себя запирать, ел хлеб, пил воду, не выпрашивался из ямы. Когда его отпускали, также проказничал. С ним было немало страшных хлопот... до тех девятнадцати лет, которых теперь достиг. Всё-таки странная вещь, старый Яздон, хотя сам его, бывало, здоровой рукой дёргал за волосы и бил, не принимал к сердцу этой непослушной натуры. Порой Воюш готов был поклясться, что тот мальчику смеялся и радовался, так, что у него усы и борода с одной стороны дрожали. Иногда он бормотал: – Выйдет из него человек, из грязи нет ничего! На это Воюш качал головой, не веря, хотя и тот его любил. Священник же Зула, которого мальчик живьём мучил, был к нему привязан как к собственному ребёнку. Такое это было странное создание, что ненавидеть его и в согласии с ним полдня прожить было невозможно.

II

Когда стали приближаться к замку, а ехали теперь медленно, Воюш первый понял, что этими вооружёнными группами в посаде были только дворы рыцарей краковской земли и окрестностей Силезии, никто иной. Но для чего они сюда стягивались, он не понимал, не догадывался.

На совет к Яздону никто теперь не приезжал, потому что старик уже так замкнулся, что о Божьем свете не знал ничего.

Стало быть, какая-то беда или необходимость загнала этих людей в лес. Или от неприятеля уходили, или хотели там его поджидать, собираясь в пущу.

Война этих лет была не особенностью, а обыденностью.

Начиная от Вислы и Вепра почти до Варты и Лабы, столько сидело разных князей Пястоичей, онемеченных, одичалых, задиристых, что трудно было сосчитать.

Один другому завидовал в земле, нападал на замки, грабил поветы. Хватали в костёлах на молитве, один другого сажал в тюрьму, не только самих, но жён и детей, убивали друг друга из-за наследства, на которое претендовали. Не тот, так другой, воевал и бунтовал.

Не было гражданской вражды – наезжала Русь, нападали пруссаки, ятвяги, Литва, половцы. Ни дня не было спокойствия, только, пожалуй, в таких углах, в которые из-за болот и пущи попасть было невозможно. А Пжеманков был такой, говорили люди, что сидел, как у Бога за пазухой.

Подъехав к замку, когда Воюш стал рассматривать собравшиеся группы, пришельцы его приветствовали, видя, что он, должно быть, домашний. Все люди были хорошо вооружены, словно готовы к походу, но какие-то встревоженные и без высокомерия. Они вяло рассаживались перед лагерем, словно не верили, что долго тут пробудут. Уже подъезжая к открытым воротам, старый Воюш, окинув взглядом тех, что его, прославляя Бога, приветствовали, узнал пожилого, как он, рыцарского человека, с которым когда-то бывал в поле, Рокиту.

Они окликнули друг друга издалека. Сова остановился.

– А вас что сюда принесло? – спросил он.

– Не спрашивай! Что же могло принести, если не беда, – начал, подходя к нему, Рокита, у которого ещё не было времени ничего с себя снять, и, как ёж, весь щетинился луками, колчанами, копьями и ножами. Казалось, что имел дома из оружия и брони, всё взял.

– Какая беда? – спросил Воюш.

– Как, вы это не знаете? – говорил Рокита. – Хоть вы в лесу сидите, но уже нет на этой земле угла, где бы не застонало и не содрогнулось тревогой. Разве вы не слышали о той массе, о той саранче, о той туче, что на нас, как потоп, льётся, уже всю Русь завоевав?

Воюш передёрнул плечами.

– Я уже слышал о тех, которых наш священник называет Гогами и Магогами, – сказал он медленно, – якобы они угрожают завоевать всю землю, как о них в Писании написано, и что хотят всё христианство погубить, гм, но Господь Бог не допустит!

– Допустил! – вставил Рокита горячо. – Вы тут, вижу, оглохли и ослепли, а там уже земля трясётся и кровь течёт реками. Они уже у нас на шее – уже в пепле все поветы... потому что эта дичь никого в живых не оставляет!

– Вторые половцы! – отпарировал спокойно Воюш. – Я их знаю.

– Что? Половцы? Это были люди ещё, хоть людей убивали, а это дикий зверь, что трупами живёт! А идёт этого такая страшная мощь, с возами, с конями, с бабами, что на пятнадцать миль дороги заполняют.

Говорящий вздохнул и вытер пот.

– Стало быть, что же? – спросил Воюш довольно равнодушно.

– Мы должны погибнуть, – прибавил Рокита, – пан воевода Краковский говорит, что мы умрём по-рыцарски, по-христиански. Бежать уже некуда, они везде грабят, а текут огромной волной, как вода. Нужно остановиться и отдать жизнь с честью, не в яме дать взять себя, безоружными.

Оба вздохнули, поглядывая друг на друга; затем слушающий до сих пор Павлик, лицо которого снова начинало гореть, вырвался:

– Пойду и я с воеводой!

Воюш глядел на него, пожимая плечами.

– А проку от такого жука! – отозвался он презрительно.

Павлик аж за нож схватился, потому что ему при чужом стыдно было.

– Пойду! – повторил он. – Пойду!

Сказав это, он вдруг стиснул зубы и замолк.

Воюш с Рокитой пошептались о чём-то ещё, и старик с мальчиком, который от него уже раньше вырывался, ехал в замок. О том безумстве, за которое его должны были наказать, речи уже не было.

Они едва могли втиснуться в очень просторные дворы за валами, и то постоянно крича, чтобы их пропустили, потому что они домочадцы и это им принадлежит.

Везде было полнѐхенько людей, а перед панской усадьбой старшины, что уже не могли поместиться в избе, стояли кругом в немецких доспехах, в шлемах, в одеждах, светлых и пѣстрых, окружив старого Яздона, который своим невольникам, Нуси и Мухи, приказал вынести себя на двор к панам братьям.

Зрелище было особенное, потому что старый пан, которого слуги держали на плечах, возвышался над толпой, точно поднятая хоругвь. Его огромное туловище висело наполовину неподвижное на плечах тех сильных верзил, с бледным длинным лицом, с одним закрытым глазом, с седой бородой, что, не закручиваясь, росла у него будто бы трава, простой толстой щетиной, с кривым впалым ртом, с той одной белой рукой, как бы трупной, платком привязанной к шее Мухе, с другой, сжатой в кулак, костлявой, оплетѣнной толстыми жилами.

Его простая, шерстяная одежда на груди была разорвана и из-под бороды проглядывало высохшее тело с торчащими рѣбрами, с морщинистой жѣлтой кожей. Яздон слушал рассказы, то открывая наполовину беззубый рот, то сжимая его. Закрытый глаз у него дѣргался, а из открытого, окровавленного, по бледным сморщенным щекам текла длинная слеза.

Рядом с этим полуумершим и ещё вдохновлѣнным какой-то жизнью лицом два коротко остриженных лба, безволосых, круглых, с блестящими бычьими щеками, застывшие, уставшие, стояли как две каменные статуи.

Вокруг громко разговаривали прибывшие, прерывая друг друга, вставляя слова с великой болью, с огнѣм отчаяния. Стоял там втиснувшийся и мастер Зула, домочадец Яздона, учитель Павлика, и несколько приезжих ксендзов с мрачными лицами, как если бы за ними пришла смерть.

Когда Воюш и юноша спешили и стали приближаться к замку, что проходило со значительным трудом, потому что и коней, и людей было море, до них доходил только прерывистый, кусками, разговор. Иногда его прерывало молчание, то снова одновременно возносились голоса и одни заглушали других.

Люди выходили из этого круга и пролезали в него. Видна была великая путаница между ними, точно голову потеряли и не знали, что делали.

Приближаясь, Воюш тут же рядом с Яздоном, которого поднимали невольники, поправляя ему то руку, то парализованную ногу, увидел старого знакомого Сулислава, брата краковского воеводы.

У него одного было безоблачное и спокойное лицо, хотя хмурое, как у того, кто, помирившись с Богом, знает, что идёт на смерть, и не заботится об этом. Он один отличался от всех

тех воспламенённых, по чертам которых бегали и мужество, и тревога, и боль, и что только из взволнованного людского сердца кровь может наверх вынести. Одни руками хватались за волосы и тёрли горящие лица, другие поднимали их к небу, дрожащие, иные их бессильно заламывали. У многих слово было не в ладу с руками, а речь с физиономией.

Старый Яздон слушал, а Воюш и Павлик, уже добравшись туда, могли лучше уловить эти разгорячённые слова, летающие как вихрь во время бури.

– Конец нам! В плен все пойдём или под их нож! Конец нам! – говорил огромный муж с седоватыми усами, которые кусал. – Никто не справился с этой дичью, зальёт она и нас... а по нашим трупам повалит дальше, пока света хватит, пока земли, пока добычи...

– Не съели нас ни половцы, ни другие пруссаки и яцва, хоть не раз тысячами у нас бывали! – прервал другой. – Всех не пожрут и эти.

– Но их не было такого гадкого множества как свет светом, – вставил другой. – Послушайте-ка тех, кто сбежал из Люблина, из Завихоста, из Сандомира. Войско это ничто, толпа – ничто, тьма – ничто, но их столько, что от Днепра завалили землю как муравьи, как гад. Около ста тысяч вылилось этого из степей. Кто это осилит?

Среди молчания начал один из духовных лиц:

– Пошло на погибель христианскому имени, как указано в Писании! А против того, что есть Божьей волей и бичом, ничтожный человек не может ничего! Вся Русь в их руках; князья должны им служить, а кто головы не отдал, в оковах стремени им подают. Мало кто из них уцелел... не оставляют никого в живых, кроме молодёжи, которую гонят в добычу скотской похоти. Старых всех режут, женщин, мужчин, детей... а кровь их пьют... трупы едят...

Сулислав молча слушал и, немного опуская глаза, сказал медленно:

– Тогда, раз уж перед нами нет ничего, только смерть, нужно рискнуть оставшейся жизнью, чтобы чести не потерять. Мы, все рыцари, должны собраться в группу и смело выпить... а умирать, так умирать!

– Будет нас, может, один на их сто! – забормотал кто-то сбоку.

– Хотя бы один на тысячи, – отпарировал холодно Сулислав, – смерть всегда равна... Пойдём ли мы против них одни, или соединимся с князем Генрихом, который собирает силы под Легницей. Они, по-видимому, направляются туда, не получив Вроцлавского града.

– А кто с князем Генрихом? Ведь не один? – забормотал седоусый.

– Собираются к нему все, – говорил Сулислав, – и нам нужно идти туда и умереть по-рыцарски. Немецкого солдата будет там достаточно, потому что и на Германию, и на императора страх напал. Через наши земли они на них идут.

Тревога у нас, но она охватила также весь свет, потому что ничто их не остановит. Пойдут, перевернут империю и Рим завоюют, предсказано им господство над миром!

– Так говорят! Так они разглашают, – со вздохом сказал клирик. – Но всё во власти Божьей. Кто может знать, не сменят ли веру, потому что отец святой послал к ним священников и проповедуют у них братья наши, а иные говорят, что среди них есть поверившие в Христа и желающие креститься.

– Ветры носят басни и лживые языки, – отозвался один из круга. – Столько теперь лжи, что в ней капельки правды не разуздать.

– Правда только то, что за ними пустыня и трупы, что им не противостоял никто, – забормотал другой, делая отчаянное движение.

Начался спор.

Одни другим внушали страх и тревогу, пока не вырвался Вежбета; он начал громко кричать:

– Железец, иди сюда! Железец! Только он был в Люблинском, когда они пришли, и лучше знает, что это... Он видел их, пусть расскажет.

Все стали оглядываться и расступаться, внимательно ища этого Железца среди себя. Тот в это время находился в другой кучке, уже, видимо, в сотый раз рассказывая, как чудом Господней милости спасся от татарского меча и хлыстов. Едва Железка из группы любопытных достали и вытянули.

Это был бывший вояка, старый уже человек, страшно худой, высокий, лысый, кожа да кости, бледный, кашляющий так, что ему каждую минуту не хватало дыхания, а грудь раздувалась как меха и он постоянно хватался за неё рукой.

На нём была порванная и запятнанная одежда, на которую кто-то дал ему епанчу из сострадания, а той ему едва до колен хватало. Шёл, кашляя и сплёвывая; хоть так жалко выглядел, всё-таки как единственный свидетель он чувствовал себя равным другим и лучше многих. Он давал вести себя старшине, словно в столицу, а когда все замолкли, повернув к нему головы, он закашлял, погладил себя по лицу и приступил:

– Уже у нас о них, об этих косоглазых бестиях, слух ходил раньше, чем они появились. Каждую ночь небо горело. Не хотелось верить тому, что приносили люди... В воздухе был смрад гари и трупов за три дня перед ними. Вороны небо заслоняли; ночью, когда было тихо, что-то иногда пролетало со свистом, словно тысячи плащей и стоны умирающих...

Святым крестом ксендза мы перекрестили ту сторону – ничего не помогло. Испуганный зверь выбегал стадами из леса как ошалелый, потому что леса горели...

Мы подумали, что пришёл последний час. Нужно было бежать прочь из хаты. Мы взялись нагружать телеги... в леса... на болота. Было утро. Ветер приносил всё более страшный смрад и дым. Стучала земля, наши руки уже тряслись...

Одно спасение – в лес, ежели его не подожгут; вглубь, за болота... Мы ещё грузимся, когда за нами дрожат, кричат, свистят, воют дикие голоса, будто бы голодные волки. Мы схватили детей на руки. Я поглядел налево, где, куда хватало взгляда, была долина. Что-то двигалось как одно большое тело, серое и противное... змея. Над ним испарения и какой-то дым, и голос, какого я в жизни не слышал. Если бы была тысяча диких зверей – ничего! Волосы вставали на голове. Как бы туча упала на долину – ничего на ней распознать было нельзя, только будто бы огромное тело, что двигалось вперёд. Перед ним, словно повытягивало из-под себя ноги, рядами вылезали какие-то создания и быстро бросались вперёд.

Мы стремительно побежали в лес, потому что и эта мерзость быстро двигалась и ползла как гад всё ближе. Все живые из нас мчались, другие падали на дороге, из соседней деревушки люди только что начали собираться – поздно! Мы с женой и детьми, забыв обо всём, как стояли, в одних рубашках, пустились в лес, пока на дороге от этой паники у женщины не хватило сил и дыхания, с ребёнком на руках она повалилась на землю, крича. Я обернулся к ней, потому что уже была в стае за мной, желая бежать на помощь. О! Боже милосердный! Уж было слишком поздно!

Прибежала та дичь, что гналась за толпой, один пронзил её грудь стрелой, другой, схватив за ноги моего ребёнка, разорвал на куски... другие напали на челядь, вырезая и не кому не прощая. Я стоял окаменелый – потому что двинуться не имел силы, и не знаю, каким чудом Божьей милости меня не заметили. Спасённый, я добрался до леса, сам о себе не зная, только моя пролитая невинная кровь была перед глазами...

Как я спасся – Бог свидетель, не знаю, не скоро пришёл в себя. Так же как какой-нибудь зверь, без мысли, я искал спасения жизни, хоть смерть была бы мне милей! Что меня понесло в лес? Какая сила? Только всемогущему Богу известно.

За собой я слышал вой и треск, свист и топот, словно судный день пришёл, стоны и плачь, потому что там всю деревню уже резали и жгли.

Когда я оглянулся назад, эти чёрные муравьи, все на маленьких лохматых конях, продымлённые, с широкими собачьими мордами, добрались уже до опушки леса. Я едва имел время – не помня что делаю – став почти зверем – на несколько шагов отскочить вглубь. Как я

попал на густую сосну по гладкому стволу, почти на верхушку, Боже меня накажи, если сегодня могу вспомнить. С молодости никогда на деревья не лазил, даже для собственных бортей, а от страха и боли ноги и всё тело дрожало... я только осмотрелся, когда опёрся на две раскоряченные ветки. Уж дальше лезть было некуда.

Только там я начал проклинать мою панику и глупость, потому что я почти погубил себя этим деревом... Лучше было бежать дальше в пушу... а сюда уже пробивалась эта дичь, подъезжала к дереву, начала останавливаться и размещаться.

Слезать уже не было времени, потому что меня точно бы заметили. Таким образом, поручив душу Богу, когда увидел висящий у пояса нож, сказал себе, что, если меня захотят поймать, то всажу его себе в грудь, чтобы мучения избежать.

Этот сброд, однако, крутился на опушке, до сих пор меня не видя, только большие косматые собаки, на высоких ногах, которые сначала за мной побежали, стали тропой преследовать меня прямо до сосны. Там они поднимали головы, потягивали носами, цеплялись лапами и лаяли. Бог милостив, что никто на это не обратил внимания. Они, немного так полаяв на меня, мигом вернулись назад, где-то почуяв добычу.

Как я продержался там целый день, что смотрел и сердце моё не разорвалось, что не крикнул и не упал от боли – чудо, как то всё, что со мной стало, одним чудом было. Они начали расставлять у леса повозки, а были они, каких я в жизни не видел, на двух огромных колёсах, накрытые войлоком, точно шатры, влекомые буйволами и конями... В тех хозяйничали полунагие бабы, выглядывали из них, смеясь, выкручивая руки, когда видели резню.

А тут начали преследовать и гнать наших. О! Милосердный Иисус! Тянули схваченных арканами за шею женщин и девушек, стегая плётками. Некоторые живым уши и носы ножами отрезали, другие головы отсекали и кровоточащие ещё на копья натыкали.

Да поможет мне Бог, я видел, когда Сальмоновой девке грудь отрезали и ели её, а другой сосал текущую кровь, прижавшись губами, пока несчастная была жива. Пригнали из наших Дубинок целое стадо в лес, преследуя его на конях. Только тут тех, что помоложе, начали тянуть за волосы в сторону и гнать, а тех, которые сопротивлялись, бить и калечить, потом тех, которые были калеками, добивать. Наконец, когда остались только старые, женщины и мужчины, напали на них, срубая со смехом головы на пригорке. Сперва обрезали им уши, которые один всадник, ехавший по кругу, собирал в большой кожаный мешок.

Что я терпел – единый Бог! Поперменно то изнутри вырывался плач, словно должен был плакать кровью, то нападало бешенство, так что хотелось броситься и мстить, одному против тысячи – хотя бы пасть! Мои глаза временами слепли. Я громко стонал, а что меня не услышали, не знаю, как получилось.

Правда, что в этой толпе был ужасный гомон и из долины гудело, как бы постоянным, глухим громом. Чего мои глаза насмотрелись в этот день... чуть не обезумел!

Железец умолк немного, начал вытирать слёзы, другие стояли нахмуренные, сдерживая рыдания. Все ксендзы плакали.

Яздон сжал здоровый кулак так, что его длинные ногти впились в кожу и кровь капала на плечо Ниусе. Павлик сжал зубы, глаза его горели как два раскалённых угля.

– Что мне было делать? – продолжал дальше Железец. – Я повалился среди ветвей, закрыв глаза, но оттого что слышались крики, я должен был насильно открывать глаза и смотреть. Они раскрывались у меня сами. В конце концов и они словно закаменели. Я смотрел как труп – не видя.

Мне казалось, точно меня уже нет в живых, и только вижу кровавый сон – и не на свете был, но брошенный куда-то в пропасть за грехи, дьяволов имея перед собой.

Я не поклялся бы, люди ли это были, или только приняли облик, похожий на человеческий, будучи зверями, потому что там никакого людского милосердия не показал ни один.

На трупах лежали, смеясь, а когда кто-нибудь из недобитых вздрагивал, бежали, хихикая, дорезать и издеваться над умирающим. На том месте у леса, куда согнали всех людей из окрестных деревень, чтобы выбрать из них подростков, когда начали убивать старых, кровь текла ручьями.

Как бы вижу её ещё... эту нашу кровь, когда, пенясь, бежала и покрывалась пузырями и пеной, к которой сбегались псы и жадно её лакали. Вокруг лежали отрезанные руки и ноги. Я узнавал людей, что видел вчера живыми, сегодня четвертованных. Потом эти бестии сели есть и пить, достав из-под войлоков, на которых сидели на конях, кусок какого-то чёрствого мяса и какой-то напиток из кожаных мешков наливали себе.

Бабы им подавали деревянные миски из тех возов, на которых ехали, а других, старых, наполовину нагих, я видел среди них на конях, преследующих наравне с мужами, стреляющих, как они, так же режущих, как те... Они также обрезали трупам и живым уши, другим – головы, и радовались им,нося и подбрасывая, как игрушку.

Они согнали к лесу людей из околицы, рыцарство, духовных и холопов, наполовину раздетых, окровавленных и связанных, вся крепкая молодёжь, потому что иным жить не давали. Те посинели от холода, страха и голода, только что могли двигаться. Некоторые падали и уже не поднимались.

Ближе всего ко мне стояли те их возы, за которыми я ничего бы не видел, если бы не та высокая сосна, на вершину которой я взобрался. После этой резни и гонения стали ложиться на землю, кое-где разжигали костры, ставили котлы и собирались кучками, каждый под надзором или сотником, который, имея в руке плётку, приказывал и тренировал. Сразу за этими возами, что выглядели круглыми, как хаты и шатры, лежали пленники рядом с трупами и на них... Немного дальше закатился огромная повозка, я догадался, что, должно быть, везут их вождя, потому что она была обшита разным орнаментом и хвостами... Но в нём ехали одни бабы, потому что того вождя я увидел сначала на коне, видел, как другие упали перед ним на колени и ничком, а он приказал их сечь и двум отрубить головы, на что я смотрел. Они сами подставили шеи, пришёл палач и одним махом отделил им головы от туловищ, а останки затем убрали.

Железец снова вздохнул, а один из духовных вставил вопрос:

– Почему вы говорили, что они мало похожи на людей?

– Потому что таких морд, как я жив, не видел, – сказал Железец. – Все друг на друга похожи, как родные, смуглые, бледные, на лице волос мало или совсем нет, щёки широкие и выпуклые, глаза маленькие, глубоко посаженные, носы плоские и широкие, лица скотские и страшные, зубы, как звериные клыки, острые и белые... Не великаны, потому что ноги у них короткие, хоть на конях кажутся большими, всё-таки сила их страшная. Я видел, как наших бросали о землю так, что убивали.

Все слушали в глубоком молчании – гул прекратился. Железец, закашлявшись, уже говорить не мог, когда ещё его слушали.

– А как же ты оттуда спасся? – спросил, обращаясь к нему, Сулислав.

– Как? И зачем? Разве я знаю! – простонал Железец. – Всё, что со мной в тот день и ночь делалось, произошло бессознательно. Не знаю, владел ли я собой, или какая инородная сила. Когда я смотрел, высохли мои глаза, во рту и горле огнём жгло, в голове стучало. Я был настолько в сознании, что постоянно начинал одну молитву, закончить её не в состоянии.

Когда стали опускаться сумерки, я не знал, ночь начинается во мне или на свете, жив я или умер. Ветер ещё дым от их костров гнал прочь от меня в лес и глаза выгрызал. И от их котлов шёл дым, и из тех телег, у них сверху имелись трубы.

Промелькнуло передо мной множество разных начальников и негодяев, похожих друг на друга. Некоторые их подростки, ещё более жестокие, чем старые, под вечер шли к пленникам как на забаву, чтобы их колоть, стрелять, таскать девушек за волосы и издеваться над ними.

Ради развлечения эти отроки душили, взяв за шею, младших... на это всё я должен был смотреть, пока не опустилась темнота. Поставили кое-какую стражу, установили порядок и тут же ложились спать. И как волки жрали твёрдое мясо, так и постель им была не нужна. Мало кто войлок постелил под себя.

Бабы также, едва покрытые кусками полотна, ходили и ездили.

Кто-нибудь из них хватал коня за гриву или голову и уже сидел на нём. Я также видел, когда под вечер они стреляли по воронам, что слетались вместе с собаками к трупам; их стрелами убивали в воздухе, никогда не промахиваясь... а потом мясо их ели.

Никакой там молитвы, ничего Божьего не было, только у вozов, где у входа висел войлок, были прицеплены какие-то идола, которым кланялись бабы и прикладывали к ним пальцы.

Одного, который вылил на землю каплю какого-то напитка, с великим криком сразу за это обезглавили... Другого который, казалось, чего-то напился, и, видно, чем-то очернил свою хату, потому что его тоже вскоре наказали смертью, бабы, крича, выгнали из палатки.

Когда опустилась ночь и стало ещё холодней, я уже почувствовал, что дольше не выдержу на дереве, пожалуй, упаду.

Эти бестии уснули, только некоторые сторожили неподалёку.

Я принялся спускаться вниз с дерева; таким образом, поранившись и разодрав до крови тело о сучки и выступающие сухие ветки, я скорее упал, чем спустился на землю. Я думал, что от этого шелеста проснутся и меня поймут. Только собаки вдалеке залаяли, а некоторые спящие поднимали головы, с одного вoза высунулась баба, а я лежал разбитый, был не в силах двинуться.

Стихло. Передо мной был густой лес, тёмная ночь, я начал постепенно вставать на ноги и ползать на четвереньках, прежде чем мне удалось расслабиться, подняться, а наконец идти или тащиться. А так как была сильная темнота, я врезался в деревья, спотыкался на корнях. Ничего во мне не болело, ни раны, что я себе заработал, падая с дерева, ни шишки от ушибов. Я шёл, полз, тащился, не зная куда, пока только слышал за собой шум их лагеря. Наконец, не знаю, когда и как, я упал, полумёртвый, под колоду – и что уже со мной делалось, не помню.

Когда я пришёл в себя, почувствовал сильную боль и покалывания... Меня уже всего облепили чёрные муравьи. Я хотел встать, но сил не было, только повременив, из последних сил я сбросил с себя всю эту мерзость целыми ладонями, с лица, с шеи, с рук, с тела, потому что повсюду уже разбежались.

Прежде чем я вытерся и вырвался, намучился немало.

К счастью, рядом была вода, хотя холодная как лёд, помывшись в которой, сбросив одежду, потом надев её снова, я как-то освежился. Я начал рассматривать лес и не сразу понял, где был... На Вусочем урочище, из которого уже знал дорогу.

Куда идти? Где была эта саранча? Где её не было? Куда бежать?

Меня начал мучить ужасный голод, который было нечем успокоить. Бог милостив, что наткнулся на какие-то грибы, которыми поддерживал жизнь, потом грыз молодые почки.

Ноги меня сами несли к Радзинам.

Когда я вышел из леса и взглянул на знакомую околицу, заломил руки. От деревни не было ни следа, торчала одна обгоревшая стена костёла, на полях вокруг не было живой души. Не оставили после себя ничего, только угли. Стаи воронов показывали, где лежали трупы.

Только ближе к вечеру в лесу я наткнулся на других беглецов, что сжались надо мной. С ними я сидел в лесу, пока, таскаясь от одних лагерей в борах до других, не попал сюда. Когда Железец перестал говорить, на лицах слушателей было видно сострадание – но и капелька неверия. Некоторые смотрели на него косо, кашляли и молчали, другие поглядывали друг на друга. Затем Сулислав, брат воеводы, обратился к ближайшим: – То, что я о них знаю, согласуется с тем, что он рассказывает. Что с ним было, одному Богу известно, потому что и в голове могло помутиться. Старшие пожали плечами. Железец, возможно, догадался о недо-

рии, потому что начал сильно бить себя в грудь и клясться, что говорил не иначе, только так, как обстояли дела, по Божьему допущению, а что люди ему не вполне верили, не удивлялся, когда он сам не был уверен в том, что глаза видели. Старейшины собрались в круг, приступили к тихому совещанию. Иного спасения не было, только собраться у князя Генриха Силезского, потому что при нём собиралась большая сила. По-христиански идти на смерть, по-рыцарски погибнуть. Яздон, который слушал совещание, опустил голову на грудь, кулак, который держал закрытым, открылся. Ногой, которой владел, стукнул Муху и кивнул, чтобы его несли в избу, потому что, увидев Павлика и Воюша, брови его нахмурились и губы грозно скривились.

III

Одновременно с Яздомом, которого невольники внесли в избу, в низких дверях опустив старца на руках, вошёл также Павлик, которого позвали, а следом за ним Воюш.

Старик пробурчал что-то невразумительное, но люди к этой речи привыкли, знали, что велел закрывать за собой дверь.

Павлик остался у порога. Воюш смело, хоть мрачно, шёл за Яздомом, грозно оглядываясь на мальчика.

Когда старик лёг в постель, а Нюха и Муха, вытирая с лиц пот, вернулись к порогу пить воду, он заговорил странным голосом, а скорее бормотанием, которое выходило из наполовину неподвижных уст старца.

Те, кто привык его слушать, могли понять эту невразумительную речь, словно выходящую из могилы, понурую, будто бы прерываемую рыданием. Она напоминала некий звериный предсмертный вой, хотя была человеческой. Проглоченная половина слов не могла выйти из той груди, высохшей и окостенелой. Когда старик хотел говорить, а та немощь его сковывала, на него обычно нападала сильная злоба, он дёргал половиной тела, одним глазом метал грозные взгляды.

Воюш стоял перед ним.

– Где был этот нечестивец? Где? Как ты смел на одну минуту с глаз его отпустить? Ты! Ты!

– Я виноват, – кротко проговорил Воюш, – но слушай, старик, не злись. Я этого твоего непоседу дольше объезжать не думаю и хлеба твоего не хочу, милости не желаю, пойду отсюда прочь! Достаточно!

– О! О! – загремело из груди Яздона. – О! Ты! Говори, где был?

И поднял к сыну кулак. Тот стоял едва ли не вызываяще, глядя в глаза отцу. Молчал.

– Спрашиваешь, где? – прервал, раздражённый гневом старика, Воюш. – А где твоя кровь могла безумствовать, если не там, где можно людей и скот душить и мучить, или девку достать! Потому что и это его уж притягивает! Спроси его, спроси, где был, как коня похитил, двоих слуг вынудил ехать с ним, выкрал собак и поехал загороднику баранов убивать, свиней разгонять, а в итоге посадил себе на коня девушку-подростка, с которой уже в лес хотел бежать, когда я прискакал.

Яздон вздрогнул, но злость, которая должна была из него извергнуться, где-то в груди свернулась в клубок и только послышался глухой и страшный хрип.

– В яму его, на хлеб и воду, держать, пока не скажу!

В яму! И чтобы, кроме сухого хлеба, не имел ничего. Виур пусть встанет на страже. Как стоит, бросить его в яму! Сейчас же! – простонал старик.

Павлик живо подбежал к отцу.

– Не пойду в яму! – крикнул он. – Нет! Этого достаточно!

Не пойду!

Последовало какое-то страшное молчание, а двое слуг, стоящих на пороге, задержали в груди дыхание от тревоги.

– Не пойду! – повторил Павлик, становясь всё более смелым. – Я уже не юнец! Усы растут! Держать в неволе не дам себя, пойду на татар с другими.

Яздон слушал с поникшей головой, не сказал ничего, только Нюхе и Мухе дал какой-то знак, указывая на сына. Они поняли, что должны были взять его и тащить, но их охватила тревога, когда Павлик бросил на них взгляд своих молодых, панских глаз, как кипятком.

Заколебались, старик повторил приказ уже не одним словом, а рычанием. Нуха и Муха задрожали, подошли на шаг, затем незапертая дверь отворилась и на пороге показался Сулислав Якса, брат воеводы.

Увидев его, Яздон нахмурил брови, лицо его стянулось, не хотел, чтобы был свидетель домашнего дела.

Он, однако же, слишком поздно опомнился, потому что, прежде чем отворил дверь, Сулислав весь разговор подслушал и понял. Павлик обратился к нему умоляющими глазами, точно хотел его приманить на свою сторону.

– Милый отец, – сказал, подходя, Сулислав, рыцарская, благородная осанка которого невольно вызывала уважение, – не время сейчас ругать непослушного ребёнка, когда Бог нас так всех бичует...

Прежде чем Яздон имел время выцедить ответ, Павлик его опередил.

– Хочу идти с вами! Хочу идти! Достаточно мне дома было гнить! Возьмите меня с собой! Ради Бога, возьмите меня с собой.

И этот дикий минутой назад юноша, прискакав к руке Сулислава, стоял почти покорный.

– Разрешите ему пойти со мной, когда храбрость есть! – воскликнул Сулислав.

Воюш отошёл в сторону, не мешался – ждал. Что делалось в старце, один Бог мог знать, он не двигался, не говорил, даже единственный глаз прикрывало веко. Долго казалось, что он даже не дышит, какая-то внутренняя борьба в нём металась, и невольно дёргалось только половина тела.

Сулислав грустно и серьёзно поглядел на стоящего рядом, просящего об опеке Павлика... Вдруг опущенная рука Яздона резко поднялась и упала, он с гневом выпалил:

– Бери его! Бери!

Павлик молнией бросился к его ногам, но Яздон единственной ногой, которая свешивалась с ложа, только стукнул его, и, не глядя на него, обратился к Сулиславу:

– Бери его... этого негодяя... но на поводке!

Павлик встал с пола и отошёл. Ещё раз попробовал подойти к отцу – Яздон отпихнул его с каким-то отчаянием.

– Он такой, каким был, пусть лихо умрёт достойно! – крикнул он. – Прочь с моих глаз, гадина! Прочь!

Павлик направился к дверям и исчез.

– Э! Э! – сказал медленно Сулислав. – Молодое пиво! Когда ты хочешь, чтобы в нас живее играла кровь? Прости сыну... не о том сейчас надо думать...

Воюш всё ещё ждал в стороне. Яздон поглядел на него.

– Если он идёт, тогда и я с ним! – забормотал Полкоза. – Я тебе тут не нужен, достаточно имеешь баб и слуг, а безумного сорванца нужно стеречь. Кто его там за голову возьмёт, если не я? На меня он руки поднять не решится.

Когда старец это услышал, лицо его дивно изменилось, упало с него суровое выражение, он вытянул дрожащую руку к Воюшу, который, быстро подойдя, прижал её к груди.

Сулислав присел на лавку.

– Поезжай с ним! – заговорил прерываемым, невыразительным голосом Яздон. – Езжай с ним. Бери лучших коней, самые лучшие доспехи. Что есть, берите. Десять, пятнадцать человек с вами, хорошо вооружённых... сколько найдёшь!

Он говорил всё быстрее, Сулислав его прервал:

– И живо займитесь сборами, мы тут сидеть и ждать не имеем времени! Ещё сегодня отсюда нужно уйти. Под Лигницей нас ждать не будут. Придётся пасть по крайней мере в группе, со своими, не где-то в углу, схваченными. Если князь Генрих и другие с ним военные люди, не победят, то уж, пожалуй, никто! Даже империя...

Воюш, повернувшись к двери, спешил, но, чуть та отворилась, когда другие старейшены, стоящие во дворе, стали входить в комнату с разными вопросами и нуждами. С татарских границ каждую минуту прибывали новые вести, от Вроцлава и Лигницы приходили гонцы.

Все они о той страшной тьме захватчиков, которую рассчитывали на сто тысяч, потому что целыми районами заливали земли, рассказывали одно и то же: что невозможно было ей сопротивляться, что шла, как огонь, вырывала, как весенние воды, гнала, как туча, как буря, которая всё уничтожает, что встречает.

Те, что шли против неё, уверенные, что погибнут, шагали с рыцарским хладнокровием, которое приходит в последний час, когда уже нет никакого расчёта, а мужчине нужно показать, что страх смерти его не сокрушит. Иногда, вспомнив свой тихий дом, кто-нибудь вздохнул и подавил немужскую жалость, и перекрестился, отгоняя искушение слабости.

– Наказание Божье! – повторяли они.

Павлик, выбежав с заискрившимися глазами из комнаты, поспешил прямо в свою каморку. Он чуть не выбил дверь, так резко в неё ударил, крича своей челяди. Он ещё стоял на пороге, когда магистр Зула прибежал за ним, испуганный.

– Эй! Клеха! – выкрикнул, увидев его, Павлик. – Будь здоров! Достаточно ты меня книгами намучил. Окончилось твоё правление.

Ошеломлённый ксендз стоял и крестился.

– Что с тобой, Павлик?

– Что со мной, клирик! Я свободен, на коня сожусь! Понимаешь, на коня! Всё-таки вылечу однажды из этой мерзкой дыры в свет! Да!

Прибежала челядь. Он оставил священника, который стоял, ошарашенный, на пороге, ещё не в силах пошевелинуться, так был удивлён этой речью.

– Седлать коня! Доспехи давай! Слышишь? Шмыга пойдёт со мной... Вы, два негодяя, со мной! И вооружитесь по уши.

Он схватил со стены меч, который нетерпеливо сорвал вместе с гвоздём, на котором висел, тут же побежал за доспехами, разбрасывая всё вокруг себя как безумный.

Он был опьянён – потерял память, не знал, что делал.

В эту минуту подбежал Воюш, к которому обратился Зула, глазами спрашивая его, что это всё значит. Павлик искоса, подозрительно поглядел на него, потому что Сова начинал распорядиться челядью и давать приказы.

– По меньшей мере десять человек на коня, с нами. Ёнтек, Бриж, Дума, Колек...

Павлик гордо обернулся.

– Что это – с нами? Не с нами, только со мной!

– Не с тобой, только с нами! – закричал Воюш. – Да!

Ты ещё из моего кулака не вырвался! Нет! Поедешь, но я тебя провожу!

Из рук Павлика выпал меч, который он держал.

– О, да! Да! – бурчал старик. – Не отделаешься от меня легко. Нужно будет погибнуть, погибнем вместе, а нужно будет шалуна за уши вытянуть из топи, ещё пригодится старик...

Павлик усмехнулся, его высокомерие немного ушло. Мгновение подумав, он начал снова склоняться к поспешности.

Во дворах уже были выданы приказы собираться в дорогу, отзывалась с разных сторон труба, люди, собравшиеся там, сосредотачивались, призывали друг друга и не спеша выезжали в посад.

Некоторых кормили ещё из горшков, поили из вёдер, задерживались при них, иные наливали в дорожные фляги, хватали мясо в торбы, большая часть шла бессмысленно с каким-то оцепенением, чувствуя неминуемую гибель, не заботясь ни о чём.

Одни командиры пошли прощаться со старым Яздо́ном, другие договаривались, как и когда должны были идти к Лигнице к князю Генриху.

Всё-таки не все были в таком плохом настроении, как те, кто уже сталкивался с татарами. Знали о больших силах, собирающихся в Силезии, и что им в помощь шли чешские подкрепления, крестоносцы (как говорили) шли целым отрядом из Пруссии, князя из Моравии и иные польские Пясты.

Хотя бы языческого муравейника было больше, тем, что ещё хотели заблуждаться, казалось невозможным, что немецкое оружие и порядок не справятся с дикой толпой; особенно, что эти татары, как Железец и иные рассказывали, никаких особенных доспехов не имели, только плохие кожаные, буйволовы панцири спереди и маленькие мечи, и никаких арбалетов, только луки. Людям, окованным в железо, умеющим воевать, казалось, что этот сброд, хоть многочисленный, смогут выдержать и легко разогнать.

Так рассуждая, они внушали себе храбрость. Другие, слушая, молчали и пожимали плечами.

Павлик рвался, чтобы как можно скорей быть готовым, а тут из его рук в спешке всё падало. Челядь разбежалась прощаться с девушками, коней едва начали одевать. Даже старый Воюш, потеряв голову, летал и ругался, не в состоянии понять, что ему было нужно.

Павлику тем временем слуги пристёгивали ремешками доспехи, ксендз стоял с заломленными руками. Достойный клирик привязался к своему ученику. Безумный малый, хотя не был большим любителем книг, когда его с ними и с учёбой загоняли в угол, выдавал большие способности, что не раз медленного ума ксендза Зулу вводил в недоумение.

Клирик иногда говорил, что если бы только Павлик хотел, и на него снизошла благодать Божья, легко бы мог стать великим светочем костёла.

Сколько бы раз не говорил это мастер, Павлик брался за бока от смеха и посвистывал, уверяя, что предпочёл бы голову потерять, чем дать постричь себя и надеть облачение священника.

– Я для этого не подхожу, – восклицал он, – а если бы в мои руки попал посох, он стал бы в моих руках палкой, и дал бы, как знак, по вашим спинам.

У мальчика была феноменальная память, так что, раз прочитав или прослушав песнь, либо молитву, сразу её повторял без ошибки, и уже раз навсегда знал. Ксендз Зула научил его хорошо читать и писать в то время, когда к нему пришла охота, умел писать так хорошо, как каллиграф и писарь, выкручивая около литер зигзаки и линии, потому что, когда не мог идти в лес с собаками, его это забавляло. Имел же такую шуструю натуру, что кверху брюхом никогда лежать не мог и должен был всегда что-нибудь делать, жалить, насмехаться, подстрекать других, бегать, вытворять шалости – лишь бы спокойно не сидеть.

Он вырывался из рук учителя, Воюш его тоже не мог удержать, люди, что ему служили, даже тот, кто был в милости, все от него страдали, потому что малейшего сопротивления своей воле не переносил.

Когда ему кто-нибудь противоречил, он готов был убить, а в порыве ярости не обращал ни на что внимания, готов был в огонь и в воду, лишь бы настоять на своём...

Отец иногда тихо бормотал жалующемуся Воюшу:

– Таким и я был!

Нужно его было любить или ненавидеть, потому что одинаково умел заслужить благосклонность к себе, когда хотел, и врагом сделать человека, а что удивительно, по-видимому, большую ему радость доставляло кого-нибудь побеспокоить, довести до ярости, зашекотать до безумия, чем заставить любить себя.

Натура была такая ехидная, что чужой болью упивалась с каким-то жестоким наслаждением.

В эти времена люди ещё были дикие, по крайней мере те, которых религия не делала пылко набожными, всё переполняло меру; вера переходила в фанатизм, храбрость – в жестокость, смирение – в францисканскую бедность. Дети таких родителей, как Яздон, наследовали от них кипящую кровь.

Это очень хорошо знал воспитатель Павлика, Воюш, который, будучи при нём с детства, не раз не в силах с ним справиться словом, должен был использовать для него кулаки. Доходило до борьбы с подростком, который, как животное, кусал своего надзирателя. Тогда Сова, ещё сильный, брал на руки разъярённого юношу и связанного клал на покаяние, пока не придёт в себя. Он был так неисправим, что его ни на мгновение нельзя было оставить без присмотра. Воюш знал это и видел, что никакая вылазка на свободу бескровной и безнаказанной быть не может.

Все страсти развились в нём буйно и преждевременно. Он страстно мчался на охоту, скакал на диких, необезженных лошадях, холопов, данных ему для служения, убивал, женскую челядь бесстыдно преследовал по углам. Телесные наказания, голод, ругань ничуть не помогали.

Порой от отчаяния Воюш уже пробовал мягкость, добрые слова, ксендз Зула читал примеры, произносил проповеди. Но оттого, что священник был послушный и трусливый, а ребёнок дерзкий, чаще всего кончалось на том, что закрывал учителю рот безбожной насмешкой, услышав которую, тот робел.

Приказывать покаяться ему было тщетно; не боялся ничего, чувствовал в себе непобедимую силу.

Иногда Воюш думал, что, когда это пиво сделается, рыцарь из него будет храбрый, потому что был страстным охотником, а во всех военных игрищах был очень ловким. Несмотря на это, настоящего рыцарского духа он не имел. Охота ему надоедала, когда долго продолжалась, погоня надоедала, когда даже лошади и собаки не успевали за ним; чтобы жизнь была ему по вкусу, он нуждался в постоянных переменах.

Казалось, одно у него застряло, как гвоздь, в голове и сердце – это желание всем распоряжаться и приказывать. Он сам слушать не умел, но свою волю готов был силой навязывать другим. Когда он только показывался в замке, люди разбегались, старых и молодых он тут же брал в кулак и приказывал им такие безумства, какие сам совершал.

Специально придумывал невозможные вещи, чтобы мучить ими челядь. То же самое делал с другими созданиями. Сопrotивлялся ему конь, тогда с ним дрался, толкал его, бил, пока чаще всего и сам калечился, и его убивал. Покусала его раздражённая собака, тогда хватал её за горло и душил.

Боялись его в замке как огня, а мало было таких, кто бы следы его игрищ не носил на себе.

– Рыцарем тебе не быть, только, пожалуй, убийцей! – бормотал Воюш.

Павлик качал плечами.

– Разве я знаю, кем буду? – отвечал он, смеясь. – Буду тем, кто приказывает. Мне едино, с коня ли, со стула ли, или из-за алтаря... я бы никого не слушать, а за головы водить других.

Воюш крутил головой.

– Епископы так же приказывают, как и князья, – говорил Павлик, насмехаясь над ним, – легче быть епископом, чем князем.

– Тебе хочется видеть плешь на голове и перстни, а что тогда будет с девушками, на которых ты так падок?

Павлик презрительно усмехался.

– Кем я буду? – воскликнул он гордо. – И я не знаю и твоя глупая голова не отгадает. Верно то, что умереть умру, а слушать не думаю, потому что шею мне никто не сожнёт.

Такого вот воспитанника должен был вести на кровавую войну Воюш, который к нему привязался, и жаль ему было отпускать его одного. Он знал, что может спасти его и что наверняка погибнет. Старику уже немного от жизни осталось, не много стоил, ценности к ней не привязывал. Смерть презирал и собирался на эту войну равнодушно, уверенный, что из неё не вернётся.

Яздон размышлял, думая, увидит ли ещё сына, но держать его не было силы ни у него, ни у Воюша, ни у кого. Он мог потеряться среди людей и, получив шишки, смягчиться. Воля Божья.

Когда Павлик, надев доспехи, припоясав меч, гордый своей рыцарской фигурой, которая его, как ребёнка, забавляла, пришёл к отцу прощаться и упал ему в ноги; старик расчувствовался, молча прижал его к высохшей груди, заплакал и благословил.

– Остепенись, не безумствуй! – застонал он. – Воюша слушай, я сдаю на него власть отца! Бог с тобой, Бог с вами.

Он указал им рукой, чтобы как можно быстрее ушли, потому что ему так в слезах размякнуть было стыдно.

Когда они закрыли за собой двери комнаты и пошли садиться на коней, то рыцарство, с которым они должны были ехать, уже вышло из замка в поле, и шло, не дожидаясь, дальше. Павлик знал, что легко его догонит, а тут ещё с челядью хотел попрощаться, которая, хоть побитая, кланялась ему до земли, чуть не рыдая.

Жаль им его было...

Дальше, у другого двора стояли белым поясом, стиснувшись в кучку, старые и молодые женщины, которые все выбежали смотреть на выезжающего пана. Некоторые фартучком вытирали глаза. Павлик не мог сдержаться и, хотя страх был велик, а Воюш ему дорогу закрывал, он вырвался с конём прямо на этот бабий отряд.

Пока ехал, он смеялся и бесстыдно им подмигивал.

– Слушай, ты, маленькая Донька! Венка не потеряй, пока я не вернусь! – кричал он громко. – Кто у тебя его возьмёт, тому голову сверну, так помоги мне Боже. Старая Рудзиха, стереги мне её как зеницу ока, потому что и тебе бич спину поцарапает... Ты, Маруша, тоже не безумствуй, а на парубков зубы не скаль... Я ещё вернусь!

Некоторые от него спрятались, другие, смеясь, поднимали головы, он, пригнувшись к коню, также смеялся и делал им знаки.

– Что за срам и позор! – кричал Воюш. – Вместо того, чтобы ехать, чёрт возьми, в часовню, чтобы Зула его хоть благословил на дорогу, идёт к девушкам, негодник; иди за благословением! Как дам я тебе, ты...

Замахнувшись, Воюш помчался за ним, чтобы отогнать его от баб, но Павлик уже ускользнул и полетел в другой конец двора. Там, действительно, стоял клирик Зула с кропилом и книжечкой, с молитвой и слезами в глазах.

Мальчик остановил перед ним коня.

– Слушай, Зула! Что ты тут будешь сидеть один в этой дыре? Разве ты двух рук не имеешь? Вроде бы священник, а незнакомый, видимо, со светом. Тебе лучше на коня с нами сесть, чем оставаться со старыми бабами, потому что к молодым ты питаешь отвращение! Езжай и ты со мной! Что ты, не мужчина? А, ну – поедem! Будешь нас благословлять по дороге и читать молитвы, чтобы о Господе Боге не забыли. Зула!

На коня! С нами!

Бледный священник вздрогнул... Голос был какой-то непреклонный, не допускающий возражения.

– Зула! На коня! – повторил Павлик.

Воюш, стоящий рядом, молчал от удивления. Он видел, что послушный священник уже колебался и вряд ли готов был его послушать.

А Павлик смеялся... Именно то, что жалил священника и ставил его в трудное положение, доставляло ему великое удовольствие.

– Зула! На коня! Чикор, подай священнику лохматого, того, что легко носит. Это прям для него конь! Баба бы на нём с кувшином молока могла ехать, а ноги железые...

С Зулой произошло что-то такое, что готов был уже послушать приказ и вместо того, чтобы благословить поход, самому в него выбраться. Сова постоянно пожимал плечами и плевал. Вопреки ему, мальчик настаивал.

– Зула, поедем! По крайней мере с тобой души не погубим, о Боге не забудем, а падём, будет кому Requiem петь. Две своры собак и священника, – добавил он дерзко, – я должен взять с собой... это напрасно... Не поеду без них...

Воюш разразился ругательствами.

Затем произошла непонятная вещь, священник вдруг, поражённый какой-то мыслью, крикнул, чтобы ему дали епанчу, и пошёл к коню.

Он решительно сказал:

– Я еду!

Видя это, слуги разразились смехом. Воюш гневался. Начал бурчать:

– Одним только ртом больше! Давка будет! Священник отобьётся и останется где-нибудь...

Но в мгновение ока Зула уже был одет, образок в карман клал.

– Да, – сказал он, – правильная вещь, о Боге вам буду напоминать, соглашусь. Хлеба не съем много.

Поставив на своём, Павлик, казалось, уже не много о том заботится. Отвернулся от ксендза, который остался позади.

Юноша пришпорил коня, поробежался по дворам гордым взглядом, точно прощался, и, прежде чем Воюш пришёл в себя, галопом пустился за ворота. За ним кони челяди, привыкшей за ним гоняться, вырвались как безумные, нельзя было удержать.

Воюш и Зула должны были догонять. Старый Полкоза ругался:

– Хоть бы шею свернул!

С этим безумцем нельзя было иначе.

Рыцарство с Яксом Сулиславом, уже прилично отбившись от замка, въезжало в лес и только хвост вереницы был виден в долине, когда Павлик, выскочив из ворот, помчался за ними, как безумный.

По лошадям и по ним видно было, что из долгой неволи вырвались на свободу. Вместо того, чтобы ехать прямо к людям, Павлик начал кружить по долине назло Воюшу, сигая через рвы и заборы. Собаки за ним, челядь за ними. Завязались бесполезные турниры, а Сова срывал грудь, крича, чтобы опомнились.

Зула, которого носил конь, держал его изо всех сил, не в состоянии остановить, пока, положившись на волю Божью, не дал кляче безумствовать, как хотела.

Вдруг Павлик натянул поводья своей лошади и встал как вкопанный, выпрямился и ехал степью.

Поплутав какое-то время, все, запыхавшиеся, стали собираться при нём и за ним. Подбежавший Воюш ругал и клял на чём свет стоит... Юноша смеялся.

Ехали тогда уже по-человечески, сначала шаг за шагом, чтобы лошади отдышались, потом рысью, чтобы догнать войско Сулислава, которое имело время отдалиться.

В лесу перед ним слышалась набожная, старая песнь Богородице. Потому что, может быть, один Павлик ехал таким шальным, все остальные были грустные и серьёзные. Они знали, что несут жизнь в жертву за веру, костёлы, семьи и дома...

Каждый ехал, готовясь к смерти. Опасались, как бы, направляясь к Лигнице с небольшим отрядом, прежде чем соединиться с князем Генрихом, не наткнулись где-нибудь на татарское войско, которому со слабой горстью не смогут даже сопротивляться.

Поэтому нужно было пробираться лесами, посылать сначала на разведку, чтобы безопасно проскользнуть. Редко когда татарская дичь, и то только испуганная, пускалась в гущи и лес. Привыкшие к степям всадники чувствовали себя в поле в большей безопасности.

Сулислав мудро вёл своих. Вести о татарах было легко достать. Они шли, правда, и нападали на незащищенные земли, когда их не ожидали, но их опережали зарева и дым, а маленькими отрядами они не вырывались вперёд.

В лесах также можно было повсюду встретить тех, что поспешили укрыться перед облавой. Побег был вернейшим знаком приближения дичи. Опустошение, которое она несла с собой, растягивалось на несколько десятков миль вокруг, но шло поясом, широкой тропой, одной большой лавой, – а те, кто сбежал вовремя, спасли жизнь.

Поэтому после этих татарских наездов, убийственных и страшных, катастрофы были неизмеримы, потери невосполнимы, – но край быстро оживал, потому что всегда больше беглецов спасалось, чем погибало.

Когда Павлик со своей маленькой дружиной встретился наконец с отрядом Сулислава, он попал в нём сразу на почти такого же молодого рыцаря, каким был сам, к которому, будучи всегда смелым, тут же приблизился, подъехал, и заговорил с ним доверчиво, как с братом по мечу.

Был это мужественный, славный уже не по одному разглашенному деянию, Янислав, красивый юноша, с прекрасной фигурой, в которой была видна рыцарская храбрость, но в то же время степенность и серьёзность, не по возрасту, может. Он натянул на лицо мину, чтобы казаться старше.

Павлик достаточно попал в его поле зрения, догадался по нему, кто был, потому что уже по войску ходили разговоры, что сын Яздона должен был к ним присоединиться. И как всегда, две противоположные натуры тянутся друг к другу; тот Янислав, что славился дисциплиной, облюбовал себе непоседу.

Павлику также никто милее быть не мог, чем такой одноклассник, с которым мог быть как с братом.

Завязалась беседа, сначала о конях, потому что у сына Яздона не было в голове татар, а был им очень благодарен, что ему для вызволения из дома пришли на помощь.

Этот безумный Павлик имел ещё и то свойство, что, когда говорил об охоте или лошадях, любил выдумывать Бог весть что. Смеялся над этим сам, забавляло его, когда люди недоумевали и ворчали. Серьёзный Янислав предоставил ему такое развлечение.

А так как оставшаяся часть отряда была мрачна, Павлик же шутил и смеялся, все на него оглядывались, радуясь тому, что им ещё кто-то немного веселья принёс в их чёрную грусть.

Были ему рады, что он один храбрости не утратил, это другим его прибавляло.

Почти до ночи, следуя рядом с ним, когда его рот не закрывался, Янислав больше слушал, чем говорил. Только когда уже приближались к ночлегу и начали раскладывать лагерь, из которого перед рассветом должны были двинуться дальше, новый товарищ сказал Павлику, который вёл себя спокойно:

– Смотри-ка, когда затрубят ко сну, не бесись, потому что с нашим паном Сулиславом шутки плохи... Нужно слушать и ожидать знака.

Он немного ему погрозил.

– Слушать? – повторил на мгновение онемелый Павлик, глядя с любопытством ему в глаза. – Слушать! Ну! Слуги должны дыхание слушать, но мы?..

Янислав мягко ему улыбнулся.

– Мы тут все слуги, – сказал он, – когда власть у одного.

Кто бы на что решился против воли вождя, голову ему отсечь как нечего делать. Павлик принял это за шутку, пожал плечами... и остановились на ночлег лагерем в лесу.

IV

Монастырь в Кросне едва мог поместить гостей, которые в поисках прибежища сбежали к нему из Тжебницы.

Княгиня Ядвига, вдова Генриха Бородатого, благочестивая пани, жизнь которой протекала в самых суровых пытках собственного тела и самой покорной службе сёстрам-монахиням и бедным, пани, которая уже наполовину духом была на небесах, а по земле шла, казалось, не чувствуя её и не дотрагиваясь до неё, прибыла в более укрепленный Кросно, таща за собой около ста сестёр цистерцианок, весь свой двор и тех триста убогих, к бедности и болезням которых чувствовала безмерное милосердие.

Она сбежала из своей Тжебницы, из красивого монастыря, от своего дорогого костёла и госпиталя, из тех мест, которые по её кивку среди трясин и болот словно чудом укрылись стенами, – не для собственной безопасности, потому что мученичество для неё было желанным, а для тех сестёр своих, что от тревоги умирали в Тжебнице, даже не в состоянии молиться и прославлять Бога.

Тщетно упрекая их в этой пугливости, княгиня Ядвига напомнила им, что без Божьей воли волос не упадёт с головы человека, а перед Божьим приговором никакое укрепление не защитит, пугливого духа её сёстры умоляли её так, что в конце концов, сжалившись над всем населением Тжебницы, княгиня велела выехать в Кросно.

Недавно построенный там монастырь для кларисок должен был их принять и дать приют храброй пани с её пугливыми подругами.

Её одну в настрашнейших испытаниях жизни никогда не покидало спокойствие, глядя на которое, люди пугались, так была похожа она на нечувствительность и оцепенение.

На её лице никогда не появлялся слеза, пожалуй, только, когда разогревалась на одинокой молитве; из её груди никогда не слышался стон.

В это время княгиня Ядвига была уже ходячей статуей святой. Исхудавшая, побледневшая, восково-жёлтая женщина, в одном своём шерстяном платье, наброшенном на власяницу, босоногая зимой и летом, с пораненными стопами, как какая-то тень, день и ночь снующая по коридорам, по костёлам, по берлогам самой отвратительной бедности, мерзкие раны которой целовала с наслаждением, – жила уже только какой-то чудесной неземной жизнью.

Она никогда не знала отдыха, не знала кровати, не садилась к столу, жила, казалось, ничем, собственной кровью, силой воли. Ночью находили её в костёле на экстатичной молитве, днём – или подметающей монастырский мусор, или целующей следы сестёр, и пьющую воду, в которой они мылись.

Какое-то жестокое смирение к себе придавало ей странное величие.

В её застывшем, мёртвом, невозмутимом ничем лице искрящиеся смелые глаза смотрели так, как бы человека до дна его души насквозь могли проглядеть.

И имела ту силу, что его действительно видела. Не единожды, когда мерила глазами проходящую монахиню, добывала из неё то, о чём один Бог мог знать.

– Иди отсюда, – говорила она встревоженной, – иди и исповедуйся в том тяжком грехе, обременённая которым пришла сюда.

Пристыженная грешница убегала, заслоняя глаза, поражённая этим чудесным ясновидением.

Когда Генрих Бородатый, её муж, с которым уже давно не жила, навещал её в Тжебнице и спрашивал о своей смерти, вздохнув, она советовала ему не выезжать из Лигницы. Несмотря на предостережение, князь Генрих отправился в Кросно и там его настигла смерть. Прежде

чем ей дали знать о его смерти, она уже о ней знала, но, когда монастырь плакал и горевал по своему благодетелю, она начала сурово корить сестёр.

Сама не пролила ни одной слезы.

– Следует смириться с Божьей волей, не роптать на неё и не упрекать, – говорила она спокойно.

Вид останков мужа не изменил этого железного хладнокровия, набожного и страшного, потому что оно в ней высушило человеческое сердце. С тревогой смотрели на это благословенное создание, которое сама смерть ни встревожить, ни разволновать не могла.

Из этого отречения от всякого человеческого чувства ничто её вырвать не могло; не была уже живой женщиной, но тенью с другого света, изгнанной на землю.

Она имела в сердце только сострадание к тем малюсеньким и несчастными, которые уже своей бедностью упали на последнюю ступень, отделяющую животное от человека.

Тринадцать таких несчастных, покрытых отвратительными ранами, чесоточных, грязных, гнойных, поломанных, были при ней всегда для испытания христианского милосердия. Тех она сама себе выбирала самых чудовищных, самых отвратительных, самых диких, полубезумных, чтобы от них и через них как можно больше страдать.

Эти тринадцать калек обходились с ней безжалостно, зная, что им всё было разрешено.

Эти люди или, скорее, чудовища издевались над святой женщиной, которая от них с удовольствием сносила всё. Чем больше её мучили, тем счастливее была.

Вся это чудовищная толпа на повозках, как самое дорогое сокровище княгини, была перевезена за ней в Кросно.

Тут же у монастырских дверей с ней должна была быть эта шумная группа баб и стариков, обнаглевшая от её доброты.

Для них речь шла о лучшей еде, более дорогом покрытии, более чистом напитке, когда она сама подкреплялась тем только, что могло пробуждать отвращение.

Кроме этого особеннейшего двора, княгиня Ядвига вела с собой невестку, несчастную и больную женщину, жену Генриха Благочестивого, мать нескольких детей, муж которой как раз готовился в Лигницы дать отпор татарской дичи.

А когда Анна заливалась слезами, думая о муже, каменная святая мать заранее уже видела, что сын её падёт смертью мученика, и, не оставляя никакой надежды невестке, сказала ей:

– Убьют его! Убьют! Ты потеряешь мужа, я – сына, но умрёт святым за христианскую веру, в борьбе с язычниками, и окупит кровью грехи свои.

Безжалостно, жестоко, не щадя ни невестку, ни себя, повторяла она эти слова-мечи, метая их прямо ей в сердце.

– Да, Анна! Падёт твой муж, падёт мой сын, а нам его оплакивать негоже. Слеза грехом бы была.

Такова была Ядвига, высохшая от постов, с ранеными от морозов и хождения по камням ногами, с телом, вздувшимся от ежедневных бичеваний, благословенная при жизни, но ничего уже человеческого не имеющая в себе.

Почитали её также как святую, но при виде её души наполнялись не любовью, а тревогой.

Сравниться с ней не мог никто, стыдиться должен был каждый – лицезрение её наполняло страхом.

Был день ранней весны, холодный и ветренный. Княгиня, которая и этой ночью не ложилась спать, проведя её в костёле на молитве, когда утром вышла к своему двору, сказала, обращаясь к своему капеллану Лютольду и коморникам:

– Смотрите, чтобы на столе была готовая еда, потому что с минуты на минуту покажется Генрих, который приедет сюда из Лигницы.

Присутствующая там невестка, княгиня Анна, стоящая за ней, приблизилась, целуя её в руку.

– Дорогая матушка, – воскликнула она живо и на побледневшем, уставшем её лице выступил живой румянец, – значит, вы получили послание от Генриха?

Княгиня Ядвига покачала головой.

– Посланец небесный поведал мне на молитве, что мы его тут сегодня увидим! Да, будет сюда ещё раз за моим благословением, на прощание с тобой... последний раз...

Поглядев на рыдающую невестку, княгиня Ядвига замолчала, но её всегда грустное лицо приняло суровое выражение.

– Не плачь же, – прибавила она сухо, – не годится противиться воле Бога и жалеть тех, кто идёт к нему для вечной святости.

Княгиня Анна, не смея отвечать, подавила свои слёзы.

Радостное пророчество о приезде боролось в ней со страшным предсказанием смерти, в неминувость которого научилась верить.

Не тронутая этими слезами, которые выдавало рыдание, княгиня Ядвига, согласно привычке, пошла к убогим. Избы и сараи, для них предназначенные, низкие, обогретые и прокопчённые, полны были дикого, нестройного гомона.

Этих избранников княгини никакая сила укротить не могла, чувствовали, что были здесь панами.

Изба представляла отвратительную и чудовищную картину.

На постели из соломы вокруг лежали люди с нечеловеческими лицами, покрытые мерзкими ранами, наростами, которые их лицам и головам придавали чудовищные и небывалые формы.

Сразу лежащий у двери человек, с огромным, синим глазом, вылезшим из-под века, торчащим как шишка, вертя палкой, ругался последними словами.

Был это самый дерзкий из них – его крик, а скорее пылкий вой, распространялся по избе. Дальше по очереди в грязных лохмотьях и дорогих одеждах, дарованных княгиней, которые валялись с ними среди мусора, лежали горбатые, хромые, покрытые склизкой проказой, текущими ранами любимцы княгини.

Всё это жадно вырывало из мисок, стоящих у них, пило из деревянных кружек и самым бесстыдным образом ругалось мерзкими и грубыми словами, бросая их друг другу в глаза.

В ту минуту, когда отворилась дверь и княгиня появилась в ней с двумя спутницами, любимицами – Раславой и Пианозой, один из убогих шикнул, и вдруг наступило молчание. Не продолжалось оно долго, шум начался ещё более ужасный.

Находящиеся ближе к двери, вытягивая руки, стали хватать за одежду входящую, которая к ним по очереди благодушно наклонялась, другие призывали её к себе. Не избегая контакта с ними, ища его, княгиня шла медленно, любуясь зрелищем этой телесной мерзости, которая для неё всю тщету и уродство мира облагораживала.

Там, на этой пытке глаз и обоняния, среди тех испарений болезни и гнили было ей лучше всего, здесь училась презирать оболочку жизни, здесь не встречала ни обманчивого изящества, ни прекрасной молодости, ни того, что соблазняет искушением мира. Там её уста немного умели улыбаться, даже несуразным словам этих чудовищных существ, которые уважать её не научились.

Две спутницы княгини шли за ней встревоженные, но послушные, на их лицах видна была брезгливость, отвращение к этой распоясанной своре.

Они дрожали и бледнели, а когда исповедник княгини, аббат Гюнтер, отворил дверь, крича, что прибыл князь Генрих, вздохнули с облегчением, потому что княгиня должна была идти для приветствия сына, которое для неё было последним прощанием. Должна была лицезреть его живым, а видеть мёртвым в душе.

Княжеский кортеж как раз подъезжал. Был он небольшой, но красивый. Ни блеском, ни презентабельностью не уступал он ни одному из самых великолепных немецких герцогов, и имел чужеземный вид, и в действительности был составлен почти из одних чужеземцев.

Рыцарство, уже предназначенное на смерть, точно в последний раз хотело выступить по-пански, всё светилось полированными доспехами, позолоченными шлемами, шёлковыми поясами, поясами с драгоценными камнями и цепочками. На самом князе Генрихе был фиолетовый плащ, отороченный соболями, доспехи, искусно изрисованные, а на голове закрытый шишак, верхушку которого украшал орёл.

Это была мужественная и напоминающая отца фигура, с загорелым лицом гордого выражения, с каким-то презрением на губах, с великой силой во взгляде.

За ним ехали подобранные к нему, дородные, гордые товарищи по оружию, мужи первых немецких и силезских родов, почти все того же возраста, что и князь, зрелых лет, но ещё держащиеся храбро и молодо.

При виде матери, одетой, как самая бедная монахиня, потому что Ядвига только в случаях, когда принимала чужих, велела набрасывать себе на плечи лучший тёмный плащ, взволнованный Генрих с поникшей головой поспешил к ней...

За ней с заплаканными глазами стояла княгиня Анна, жена его, которой он грустно улыбнулся.

Он склонился до колен матери, которая положила руку на его голову, и так вместе с ней они вошли внутрь монастыря.

Рыцарство Благочестивого князя, хоть само было таким же благочестивым, а о развлечении теперь также не было времени думать, всё-таки стали улыбаться младшим монахиням, которые с любопытством выглядывали из-за дверки.

Такое это было время. С одной стороны безжалостная суровость, с другой – человеческие страсти, ничем не укрощённые, вырывающиеся из железных оков, которые на них надели. Не за одну монашку этого суровейшего устава было трудно ручаться, что, воспламенённая, взаимно не улыбнулась рыцарю. Тем горячее была потом молитва.

Княгиня, ведя за собой в молчании сына, который держал за руку жену и потихоньку что-то шептал ей, вошла в маленькую комнату, в которой обычно принимала чужих. Это была не та келья, в которой бичевала себя и проводила ночи на твёрдом постлании из досок, когда усталость уже на ногах ей не давала держаться.

Там ещё можно было по богатым вещам узнать княгиню, когда в своей келье жила бедная, как монашка. Там висели только кресты, образки покровительниц, Марии Магдалины, Екатерины, Теклы, Урсулы; и перед ними горели лападки.

Как обычно, княгиня Ядвига, никогда не выпускающая из руки маленького изображения Богородицы из кости, которое постоянно носила с собой, приблизила его сначала к бледным устам и поцеловала, прежде чем обратилась к сыну.

В этой набожной практике она черпала некую силу. Её исхудалые пальцы, кости, обтянутые кожей, с пылкостью обнимали, сжимали этот образок скорбящей Матери. Она сама в эти минуты также была ею, но боль она покрывала холодом, так что глаз людской заметить этого не мог.

Разговор шёл, как всегда, по-немецки.

– Я прибыл за вашим благословением, – вздохнул князь Генрих. – Дикари из-под Броцлава, которого взять не могли, направляются сюда, на Лигницу, мы ждём их. На Добром Поле решаться наши судьбы, а может, – добавил князь, – и всего христианского мира, и наверняка всей этой нашей земли, стоящей открыто.

Княгиня слушала, целуя изображение Божьей Матери и не прерывая сына, глаза её смотрели куда-то вдаль, казалось, его не видит.

– Пять сильных отрядов, – продолжал далее сын, – мы поставим против них, муж в мужа, отборные люди... каждый из нас против этого гада, один против десяти устоит.

– А их сто на одного из вас, – воскликнула княгиня Ядвига. – Видят их мои очи, видят! Их великое множество, бесчисленное, так, что если бы половину этого сломили, хватит другой, чтобы вас поглотила. Это чума небесная... наказание Божье за грехи... Вы должны умереть за вашу веру, чтобы кровь смыла вину...

Княгиня Анна, слушая мать, начала рыдать, – суровый взгляд вынудил её подавить слёзы.

– Вы не победите их! Нет! – говорила она неспешно. – А как бы вы могли, мой Генрих, побить неприятеля на том Недобром поле, где – ударь себя в грудь – ты некогда сражался с собственным братом?

Так было в действительности, на поле под Лигницей в кровавой битве встретились поссорившиеся Генрих с Болеславом, родные братья. Услышав это воспоминание, князь вздрогнул.

– Я не мог сдлать иначе, – воскликнул он, – я был вызван!

– Но сражался с братом, и не за справедливость, но за брренное правление, за эту жалкую землю, которой на могилу так мало нужно, а вашей гордости всегда её не будет достаточно. Поэтому сегодня, когда за свою жизнь и за святое дело будете биться, – погибните! Потому что это – суд Божий!

– О! Матушка моя! – простонал Генрих, голос которого повторился в груди жены.

– Это не мой приговор, а Божий! – холодно отвечала Ядвига, набожно целуя изображение. – Я его только объявляю тебе, чтобы ты и твои рыцари знали, что на смерть идёте, чтобы соединиться с Богом; вы получили благословение капеллана так же, как я вам моё даю.

Говоря это, рукой, в которой держала статуэтку, она начертила крест над склонённой головой сына и уста её начали шептать какую-то тихую молитву, которую прерывали только рыдания княгини Анны, опёршейся на плечо мужа и плачущей.

Генрих стоял с грустным, но мужественным лицом. Это предсказание, может, согласовалось с его предчувствием, хотя потихоньку он старался успокоить жену. Воспоминание об этом кровавом действе с братом под Лигницей мучительно сжимало ему сердце.

– С нами, – произнёс он, желая переменить разговор, – с нами рыцари немецкого ордена и подошёл неплохой польский отряд. Моравы и чехи тоже придут. Все люди дородные и храбрые.

Княгиня Ядвига покачала головой.

– Сто на одного, и больше их будет, – сказала она, – не сможете. В Писании сказано, что придёт народ с востока, который истребит христианство, чтобы оно, может, зацвело пышней на удобрении из людских тел и грехов.

Стоит ли этот мир и этот век, чтобы Бог пощадил их? – добавила она, тяжело вздыхая. – Мы погрязли в грехах, мы топчимся в них. Устами признаём Христа, а сердцами тело любим, прах и гниль. Кто из нас достоин милосердия?

– Ты, дорогая матушка! – воскликнул взволнованный князь Генрих. – Ты! Если бы Бог, как сказано в Писании, из-за одного справедливого готов был спасти город, разве из-за твоих добродетелей не должен бы нас спасти?

Мать прервала его с грозным криком ужаса.

– Не лги! Разве не знаешь, сколько греха я на душе моей несу? Сколько слабости? Сколько пятен, которых покаяние смыть не может?

И она горячо поцеловала образок.

– Суды Божьи и суды человеческие – две разные вещи, потому что Он на сердца смотрит, не на лица.

Князь Генрих грустно опустил голову. Молчала, молясь, старая княгиня.

– Тело нужно подкрепить, – сказала она после паузы, слыша колокол, который отзывался вдалеке. – Там для вас уже стоит приготовленная еда... поэтому идите, а я в костёл должна...

Она быстро вернулась к своей келье; княгиня Анна взяла мужа под руку и повела его с собой в столовую комнату, которая находилась за женским монастырём и была предназначена для гостей. Там находились товарищи Генриха, ожидая их.

Отдельный стол на возвышении был приготовлен для князя. Рядом с ним села княгиня Анна, прислуживая мужу, который, несмотря на грусть и плохое предсказание, утомлённый дорогой, жадно начал утолять голод.

Другие, сев за стол, тоже хватали уже из мисок и деревянных сосудов мясо.

Пиршество было скорее монастырским, чем княжеским, а жизнь в то время даже в панских домах больше состоятельной, чем изысканной. В будний день мясо, полевка, каша, составляли все блюда, в пост – рыба и мучные изделия. Перед панами стояло пиво, вино перед князем, вода в изобилии.

Когда голоса стали раздаваться громче, оказалось, что почти всё общество не утратило духа. Была минута сомнения, когда силезцы считали себя одинокими, теперь при поступающих подкреплениях набрались смелости.

– Хей! – сказал Хенно из Рохрстейна. – Не удивительно, что эти языческие холопы одолели Русь, потому что там никогда доброго оружия и военного дела не было. У нас в Германии иначе. Языческая война везде одна, достаточно посмотреть, как крестоносцы толпу пруссов разгоняют и Литву гонят и убивают кучами... Эта беднота даже доспехов не имеет...

– Несколько из них убитых наши люди видели под Вроцлавом, – сказал другой. – Это быдло, и не рослые даже, худые, жалкие, только смело на смерть идут. Спереди едва кое-кто покрытый, а обычный люд едва в лохмотьях, наполовину голый.

– Наши доспехи, наверное, что-то стоят, – ответил издалека, услышав, мрачный князь Генрих, – но численность тоже значит! Численность не без значения. Не сломят нас, стоя один против другого, но засыпят и задушат...

– О! О! Бог всё-таки с нами! – раздался какой-то голос из тишины.

– А грехи наши против нас, – вставил клирик, который сидел в конце стола. – Если бы не они, мы были бы победителями в Палестине, и вернули бы гроб Господень и Святую Землю, всё же и там Господь Бог не хотел благословить наше оружие из-за наших грехов и преступлений... сарацины прочь изгоняют франков из тех мест, которые уже заняли...

– Император бы нам, наверное, пришёл в помощь, – сказал князь Генрих, – потому что опасность и ему грозит, когда нас сломят; но тот занят в Италии.

– И крестоносцы ненадёжные, – шепнул один из рыцарей. – Они обещают прибыть к нам, но сомневаюсь, что сдержат слово, потому что им угрожает на Поморье война со Святополком, а язычники, которых только силой обратили, очень возмущаются.

– Не отбирайте у себя храбрости! – отозвался князь. – Воля Божья! Будет то, что Он решит! Мы наш долг исполним.

Разговор за столом продолжался так не очень охотно, потому что сперва кто-нибудь настраивал его на более весёлый тон, затем другой более мрачной нотой хмурил лица.

Челядь уже начала собирать миски, когда вбежал оруженосец князя Генриха, крича с порога:

– К вашей милости прибыл гонец из Лигницы!

Князь вздрогнул, все собравшиеся обернулись к двери, некоторые встали с лавок, любопытные и беспокойные, так как доброго посольства не могли ожидать.

В зале все задвигались... Княгиня Анна подняла вверх руки и закрыла ими глаза. Князь Генрих подошёл к двери, подумал немного и велел позвать гонца.

Тот весь грязный стоял недалеко за порогом, шатающийся от усталости, опершись о стену. Ему не было необходимости говорить, потому что по лицу его каждый мог прочесть, что был посланцем Геобовым.

– Князь Мешко выслал меня сюда, – сказал он ослабевшим голосом. – Татары уже идут, у вашей милости едва есть время вернуться к Лигнице. Отряды с каждым днём показываются всё ближе. Задержало их только то, что хотят получить замок во Вроцлаве. Все умоляют, чтобы ваша милость вернулись, потому что без вас в поле не выйдут.

Князь, услышав это, с хладнокровием и великой энергией тут же воскликнул:

– На коня! На коня все!

Плохая весть, казалось, добавляла ему мужества.

Сказав это, он заметил, что жена его оперлась о стол, чтобы не упасть; он поддержал её словом и рукой.

– На коня! – повторил он ещё раз и выбежал из столовой.

Рыцарство выбежало с шумом и лязгом прочь из комнаты, не дожидаясь уже князя, который медленно шёл, ведя едва плетущуюся за ним жену.

В комнате княгини матери не оказалось, доверенные её служанки, Катерина и Демунда, молча указали на костёл.

Он был пустым, когда князь Генрих вошёл в него с женой; внутри мрачный день казался ещё более тёмным, чем обычно. Одна лампадка горела перед большим распятием на алтаре. Княгиня Ядвига, как всегда, босая, стояла на коленях на холодных камнях с поднятыми вверх высохшими руками, молясь духом, не устами. Её глаза плавали в слезах, но побледневшее лицо излучалось восторгом, как бы с этого чёрного креста, на котором висел Христос, слетело на неё недавно слово утешения. Погружённая в себя, она не слышала шагов сына и невестки. Должны были остановиться за ней и ждать, не смея прерывать её молитвы. Княгиня Анна встала на колени и, плача, тоже начала молиться.

Князь Генрих стоял задумчивый, только его руки сложились как для молитвы. Внутри костёла царила торжественная тишина, а через открытые двери иногда со двора влетал отголосок суеты, потому что товарищи князя, разговаривая и выкрикивая, как можно быстрее седлали коней.

Княгиня-мать упала наконец у ступеней алтаря, целуя пол с такой горячностью, словно на нём хотела почтить следы каких-то святых стоп, поднялась, повернулась и, перекрестившись и поцеловав бывшее в руке изображение, стала медленно провожать сына от алтаря к дверям. Лицо её сияло вдохновением, она сама казалась благословенной.

– Иди, сын мой, – говорила она, – иди. Пробил час жертвы! Бог тебя зовёт! Иди и неси свою жизнь за христианский мир, потому что у твоего трупа остановится вал, и волна, которая должна была залить и поглотить мир, отступит, – отступит кровавый потоп, и христианство спасётся! Иди, мученик мой, за которого я горда, за венцом и своей короной! Иди! Не будут по тебе плакать ни очи мои, ни сердце моё, ибо ты избранный и благословенный. Иди во Имя Отца и Сына, и Святого Духа!

Княгиня Анна по-прежнему плакала, прижимаясь к плечу мужа. Они стояли на пороге костёла. До сих пор неподвижный князь наклонился, дрожа, к ногам матери, на его глазах блеснули слёзы. Не говоря ничего, он поцеловал в лоб жену, та, не желая его отпускать из последнего объятия, повисла на его шее, и княгиня Ядвига схватила её слабыми на вид руками, чтобы оторвать от мужа.

– Женщина маленького сердца, – сказала она, – не вставай ему своей грешной любовью на дороге, не отводи его от предназначения, не искушай его слезами. Пусть! Пусть! Пусть спешит!

Генрих стоял ещё, когда во двор влетел другой посланец от князя Опольского.

– Татары идут! – стал он кричать с коня. – Все вождя зовут. Приезжайте!

На этот голос, которому рыцарство вторило одновременно криком пыла и тревоги, князь поглядел уже только на жену, на мать, и вскочил на коня, стоящего перед ним. Слуга подал ему стремя, другой – маленький щит, который он привесил у седла.

Он снял шлем, прощаясь с костёлом, матерью, женой, и весь отряд с сильным грохотом бросился со двора, выезжая в ворота. Монастырская челядь и женщины рыдали.

Княгиня Анна, сломленная великой скорбью, как стояла, упала на ступени костёла и, закрыв глаза руками, плакала.

Княгиня-мать стояла неподвижно, как статуя, не проронив слезы, с глазами, уставленными в даль, словно там, где-то, видела больше, чем все люди – всё будущее, кровь, которая должна была пролиться, и славу, что из неё должна была расцвести.

По небу мчались серые облака, каким-то кровавым заревом снизу зарумяненные, – будто бы также объявляя о пролитой крови и будущем кровопролитии. Ветер как раз гнал их с той стороны, откуда лилась эта монгольская чернь на эту несчастную землю. Воздуха, несмотря на ветер, не хватало, чем бы грудь свободно могла вздохнуть. Всем отравленные испарения затрудняли дыхание, щипали и раздирали горящее горло.

Монастырская служба не могла отойти от порога, глядела, ошарашенная, на эту горстку людей, которая мчалась по дороге, ведущей прямо на смерть!

V

На башне костёла Панны Марии в Лигнице стояли, рассматривая из узкого окна околицу, князь Генрих Благодетельный, Мечислав Опольский, Болеслав Моравский, в просторечье называемый Шепёлкой, и Сулислав Якса, брат краковского воеводы.

Вид, какой расстился перед их глазами на краю долины у Ниссы, на какое-то время лишил их мысли и речи.

Там чернели поля, широко засыпанные, как муравьями, чёрной толпой, движения которой с башни едва были заметны.

Среди этого огромного савана, что расстился по земле, поднимались столбы дыма, ветер приносил оттуда какой-то вой и глухой гул. Веяло тревогой и угрозами в сторону Лигницы.

– Мы сидим тут, запертые в валах и стенах, – отозвался понуро князь Мечислав, – это ещё из всего самое разумное.

Всё-таки в Кракове и половины не было тех, которые у Святого Енджея защитились от этого нашествия и взять себя не дали. А в поле?

Никто ему не отвечал, глаза всех были устремлены в это чудовище, лежащее на горизонте, которое не сегодня-завтра должно было подползти к подножию крепости.

Князь Генрих, подумав, обратился к нему:

– Лучше выйти и расправиться с этой чернью, чем окружёнными тут мучиться и задыхаться, подвергаться насмешкам.

Мужам подобает стоять по-мужски, а хотя бы и погибнуть.

– Мы имеем точную новость, что король Вацлав прибудет через два дня, – начал невыразительно шепелявить Шепёлка. – Подождём его... Будем сильнее...

– А кто поручится, что брат Вацлав, устрешённый этим потоком, не отступит. Мы, напрасно прождав его, голодные и слабые духом, должны будем идти одни. Обещанные крепостносы нас подвели, во Вацлаве мы не уверены.

– Магистр ордена должен был прийти сюда со всей силой, – сказал Мечислав, – а прислал нам, как в насмешку, нескольких братьев и жалкую горсть кнехтов, без которой мы бы обошлись!

Они снова в задумчивости молчали.

Князь Генрих опёрся о стену, высунул голову, поглядел и дал знак сходить с башни, первым вступив на лестницу, которая вела на верхний этаж. За ним с поникшими головами, молча, медленно начали спускаться другие.

От костёла до замка было недалеко. Тут, на дворах, на улицах, на площадях, везде среди валов стиснутой толпы в щуплых их границах стояло рыцарство, беспокойно выжидая приказов.

Генрих Благочестивый, приняв сильное решение, никого не дожидаясь, вступить в схватку, вбежал в большую избу внизу, в которую за ним вбежали все.

Его лицо, никогда не теряющее рыцарского выражения силы и энергии, теперь казалось заклеянным двойной мощью убеждения. Брови были стянуты и уста гордо стиснуты.

Некоторые смотрели на него, как на того, кому пристало пророчествовать; менее уверенный в себе Шепёлка был смущён и раздражён. Мрачный Опольский думал, Сулислав, стоя немного в стороне, ждал, оглядывался вокруг.

Князь большими шагами кружил вокруг стола, стоявшего среди залы. Слышались его смелые и уверенные шаги, казалось, говорит так же отчётливо, как его слова, что уже принял неизменное решение. Догадывались, что хотел, положившись на Бога, вступить в схватку. Он обернулся к Мечиславу, подавая ему руку.

– Брат, – сказал он, – выступим против них завтра. – Каждый день проволочки нас утомляет, замок не обеспечит провизией стольких людей, в груди мужество может изменить, когда ему остыть дадим... пойдём!

Это слово он сказал возвышенным голосом, с таким сильным и глубоким выражением убеждения, так категорически и решительно, с таким великим мужеством и верой в себя, что все, им подхваченные, отозвались единогласно с пылом:

– Идём!!

Это было решительное слово, не колебался уже никто, не рассуждал, не прекословил. Первым двинулся с места Сулислав и пошёл к своим выдать на завтра приказы.

Князь Генрих хлопнул в ладоши и призвал Ростислава, своего каморника, который почти никогда от него не отходил. Он и Ян Иванич, второй личный слуга князя, оба в самом рассвете сил, дородные мужи, личная стража, – тут же показались на пороге.

– Готовиться на завтра – всем! Выдайте приказы! – сказал князь. – На рассвете у Девы Марии богослужение и исповедь, потом – в путь!

Он перекрестился и в воздухе начертил рукой, будто бы замахнулся мечом.

– Дать сигнал на завтра! Для отдыха и приготовления осталась ночь.

Послушный Мечислав сию минуту вышел к своим людям во двор, спеша с подобными приказами. Шепёлка, поколебавшись, пошёл следом за ним. Ростислав, исполнив поручение князя, спешно вернулся к нему, потому что князь Генрих снова выдавал приказы.

– Смотри, Ростек, – обратился он к нему с принуждённой весёлостью, – что принесёт завтра, один Бог знает, в руках которого наши судьбы, сегодня мы должны быть в хорошем настроении. Не нужно жалеть ни еды, ни питья. Дай приказ пивничным и тем, что варят, чтобы приготовили нам последний ужин, как следует для тех, кто завтра... уже, может, есть не будет. Не жалеть ничего, ни для рыцарства, что тут со мной сидит, ни для тех, кто где-то в другом месте будет ужинать.

Он положил руку на плечи Ростислава.

– Прикажи, чтобы было по-княжески, по-королевски, потому что мы все этого достойны. Последний праздник себе устроим, пусть нам ничего не жалеют. А столов поставьте больше, чтобы я один не был, и в добром окружении съел прощальный ужин...

Ростислав поклонился, улыбнулся пану, поцеловал ему руку и спешно выбежал.

Замок и околица в этот вечер выглядели так, словно через минуту должна была начаться битва. Всё было в невероятном движении, люди среди шума и давки едва могли договориться. Один поспешно точил меч на первом попавшемся точиле, другой считал стрелы и пробовал их наконечники, иной крепко насаживал обух, другие снаряжали коня.

Везде была видна поспешная, лихорадочная деятельность.

– Завтра! Завтра! – повторяли, встречаясь...

Костёл постоянно стоял открытым. В этом веке великого своеволия и не меньшей набожности все тиснулись к алтарям, потому что каждый имел камень на совести. Искали ксендзов, чтобы от них получить благословение, очистить душу, наконец, достать, что можно, какую-нибудь реликвию, благословенный крестик, медальончик, талисман, который бы охранял от смерти, или от ещё более тяжёлого, чем она, увечья и неволи.

Разбросанные по домам солдаты брали у баб разные узлы и травы, которые также должны были охранять.

Верили в чудо так же, как в колдовство и чары. Были, наконец, и такие, что, не много заботясь о жизни, наслаждались тем временем обилием напитков и мяса, кои им щедро добавляли как приговорённым в преддверии казни.

В лагере пана Сулислава Яксы, составленного из первого краковского рыцарства и замлевладельцев иных округов, царило движение не меньше. Весь этот отряд имел свой отдельный лагерь, к которому постоянно из других таборов наплывали гости. Здесь было шумней, оживлённей, веселей.

Павлик со своими – клехой Зулой, Воюшем и военной челядью – напросился к мещанину, который уступил ему светлую и довольно просторную комнату, но той не хватило посетителям, потому что сын Яздона угощал с такой безумной, распушенной щедростью, так весело, что туда все лезли.

Он привлекал к себе людей, добавлял надежды, пробуждал великое стремление, так что все к нему льнули.

Первый раз в жизни он был паном, мог немного по своему желанию наговориться, насмеяться, людей свободно подразнить; мальчик так этим наслаждался, что Воюш постоянно должен был его притормаживать. Он его уже не хотел слушать.

Поддерживали юношу новые приятели, не чем было помочь.

Всё давало ему повод для пустого смеха: люди, место, слова и движения. Он особенно безжалостно издевался над теми, которые о завтрашнем дне говорили с опаской и сомнением.

Он был в высшей степени уверен, что они побьют татар и поля устелят трупами. Эта отвага гневилась Воюша, а его гнев её увеличивал. Зула, прохаживаясь с литургической книгой, молился, гневался на шалуна, а так как ему мешали в молитве, часто прямо на двор выскальзывал. Там ему также не лучше было, крик юноши и беспокойство за него тянули его вернуться. Через минуту он появлялся в дверях и, не в силах выдержать в давке, убегал снова.

Воюш сидел на лавке, опёршись на стол и положив голову на руки. Как только глядел на молокососа, плечи его тряслись.

А Павлик шутил.

Уже смеркалось. Сулислав, который на ужин к князю Генриху имел право взять с собой нескольких главнейших, памятуя отца, послал за сыном Яздона, чтобы его сопровождал. Воюш одного его отпустить не хотел, но юноша, быстро надев на себя по возможности лучшую одежду, припоясав самый красивый меч, вырвался, не спрашивая. И он ушёл бы от него, если бы старик сильной рукой не схватил его за полу и не вынудил идти с ним.

Хотя Воюш там места иметь не мог, готов был, пожалуй, стоять позади мальчика, чтобы его в данном случае воздержать от какого-нибудь безумства.

Большая комната в нижней части замка наполнялась, словно на какое-нибудь торжество, собирающимися гостями. На их лицах видна безоблачность, какую даёт мужественным душам неизбежная необходимость. Хмурятся и морщатся лица, пока можно громко болтать, пока можно нагинаться на обе стороны, пока продолжается неопределённость судьбы; когда раз произнесено слово, мужской ум с ним свыкается, смело глядя в глаза тому, что неизбежно.

Теперь колеблющихся несколько часов назад людей было немного. Князь Генрих был сияющий и спокойный, он, что подкреплений короля Вацлава ждать не хотел, и другие из него, как из воды, черпали надежду на победу, отвагу к неравной битве.

Шепёлка глядел на него в недоумении, поддакивал ему, точно сам себя хотел убедить. Мечислав поправлял длинные волосы, сжимал зубы, подтверждал головой то, что говорили. Сулислав, памятуя о мужественной смерти своего брата, погибшего в битве с татарами, не хотел лишать смелости других. И ему добавляла храбрости мужественная резигнация князя Генриха.

Иные, может, забыли о завтрашнем дне ради сегодняшнего вечера, который проходил весело.

Комната, немного низкая, но просторная, освещённая факелами, которые держала стоящая у стен челядь, представляла картину движущихся огней и теней, полную отчётливых противоречий. Одни фигуры обливал густой мрак, когда другие светились в полном блеске, искрясь своими драгоценными украшениями, переливаясь яркими красками, сверкая золотыми окаймлениями.

Кое-где из мрачных теней выскальзывала голова, отмеченная рыцарским выражением мужества, побледневшее лицо увядшего старца, словно вытесанное из серого камня, или цветущие лица юношей, ещё имеющие в себе что-то женское.

Дрожащий свет факелов двигался и перемещал тени, которые проходили по стенам и людям, заслоняли их, падали, исчезали и возвращались. Иногда недавно зажжённый факел пылал более горячим светом и одна часть картины обливалась померанцевым цветом – другие, пригасая и дымя, облекали силуэты полутеньями.

В этом переменчивом свете до неузнаваемости менялись люди и лица; исчезали одни и выступали другие.

В княжеском окружении было несколько духовных лиц.

Один из них, когда Генрих занимал место, встав, начал читать молитву и благословение столу. Никогда её, может, рыцарство не слушало так тихо, не повторяло так набожно. Каждому приходила мысль, вернётся ли он ещё к спокойному столу, к семье – под крышу! Тот домашний покой казался теперь в сто раз дороже, неоплаченным сокровищем. Смерть была ничем, но победа над таким врагом, но неволя в путах той дичи, о суровости и варварстве которой столько рассказывали, холодила кровь в жилах.

Стол был, как приказал князь, заставлен обильно, по-пански... Вся жареная дичь домашних и диких зверей стояла на досках, наполняя комнаты запахом мяса. Огромные оловянные и серебряные миски помещали кушанья из муки, сыра, каши с разными приправами. Жбаны и кубки не давали разглядеть гостей, так густо между ними стояли и поднимались вверх.

Князь, который хотел развеселить умы и влить в сердца отваги, велел и менестрелей позвать, которые у двери начали на гусях и скрипках охотно тянуть песни. Не была это слишком громкая музыка, пир, разговоры заглушали её, – но и такая пробуждала немного веселья. Назавтра вместо неё должны были услышать татарские крики.

Она дивно звучала, словно приказали ей быть весёлой, а была грустной. И та, что забренчала резвей, разлилась тоскливо и плачевно.

Хотя хозяин срочно хотел избежать всякой речи о татарах и о том, что делалось в несчастном краю, невозможно было так спутать мысли и слова, чтобы чем-то не коснулись этой стоящей за воротами реальности, которая уже в них стучала.

Когда подошла ночь, все видели из-за валов на огромном пространстве разажжённые татарские костры; над ними поднимался, колыбался кровавый дым, порванный в огненные клубы.

Знали, а по крайней мере так в то время рассказывали между собой, что у монголов огонь был в особенном почёте, что им всё очищали, послам, к ним отправленным, приказывали проходить через огонь, проводя у костра разные обряды и волшебство.

У княжеского стола сидел пожилой уже рыцарь, очень бывалый, что приобрёл ко двору князя, а некогда воевал в Сирии и видел там сарацин, и бывал гостем у тамплиеров, в их *Castrum Peregrinorum*. Тот умел рассказывать о войнах с неверными, но то, что о них рассказывал, вовсе не согласовывалось с обычаями татар, и даже с их обликом.

Этот рыцарь по имени Берtrand сохранил почти дружеские воспоминания о неверных; когда рассказывал о своих приключениях, на него смотрели с удивлением. Любил прославлять их благородство в бою, богатство и красоту их оружия, рыцарские обычаи. Это плохо за него говорило, но слушали с заинтересованностью.

И в этот день он начал длинную повесть об осаде Дамьетты. Не нашёл, однако, таких охотных слушателей, как в другие дни, прерывали его, а князь Генрих, не слушая незнакомца, спросил Сулислава, который сидел неподалёку, что слышал от своих о способе ведения войны татар.

– Милостивый пане, – сказал Якса, – от русинов и от наших уцелевших мы знаем, что у них вся сила в количестве.

Также гонят вперёд даже невольников кучами, дабы в них первые неприятельские стрелы попали. Если в яростном столкновении не победят, уходят, но преследовать их – обманчивая вещь, потому что в засаду ведут и вокруг окружают.

– Это старая штука! – отпарировал князь Генрих.

– Но она всегда удачна, – изрёк рыцарь Берtrand. – Видя уходящего врага, забывают об опасности, пускаются вслепую.

– Редчайшая вещь в яростном бою – хладнокровие, – сказал князь, – и самая нужная. Иметь мужество и не безумствовать – это настоящее искусство.

Некоторые говорили о татарском оружии.

– Стрелы пускают густо, – прибавил Сулислав, – они летят тучей, но редко какая-нибудь воткнётся в доспехи. Также у них есть секирки и мечи с одним остриём, кривые и простые, и хуже, чем немецкие. Вместо щитов кожаные нагрудники спреди.

На голове также мало железа. Но буйволовые шкуры, сбитые в несколько слоёв, ни лук, ни арбалет даже силой не пробьёт.

– Они правы, – вставил Берtrand, – те, что сравнивают их с таинственной казнью Божьей, называемой саранчой, на крыльях которой написано, что послана на землю в наказание.

Так они также тучей летят, так поля покрывают, так мерзко выглядят и на что они нападают, грызут аж с остервенением.

Ропот становился всё больше. Павлик, который в конце стола сидел между немцами, не силах с ними разговаривать, дурачился, строя мину для своего возраста слишком серьёзную. Воюш, стоя неподалёку, следил за ним.

Ругать было ещё не за что. Один из немцев спросил его на своём языке. Павлик, который его не понимал, резко ему отвечал, но болтовнёй, им придуманной, и не похожей ни на один язык.

Немец сильно удивился этому языку, чуждому ему, спросил повторно, и получил ответ, который звучал ещё странней.

В убеждении, что это всё-таки, должно быть, какой-нибудь человеческий язык, немцы между собой начали спорить о том, какой был. Чувствовали, что не польский, поскольку со звуками и словами того они были знакомы.

Павлик, стоя при своём, иногда, делая серьёзное лицо, подбрасывал им по несколько слов, самым особенным образом выкрученных, так, что все нагинались к нему.

Немцы остановились на том, что это, должно быть, какая-то речь, принесённая с юга, но трудная для понимания. Столько было франков разного рода и италов со своими диалектами, что это казалось вероятным.

В середине ужина общий разговор очень оживился, а гости разделились на кучки. Павлик, которому было не с кем говорить вскочил с лавки, на которой сидел, и пошёл кружить вокруг стола, прислушиваясь к разговорам, ища новой возможности сделать какую-нибудь шалость. Воюш не спускал с него глаз и шаг за шагом ходил за ним.

Так он сначала приблизился к Сулиславу, потом к князю.

Генриху попало на глаза дерзкое лицо юноши, он кивнул ему, чтобы подошёл.

Павлик смело к нему приблизился. По лицу князь понял, что он, должно быть, поляк, и на плохом польском спросил его, кто он.

– Я сын Комеса Яздона из Пжеманкова, – отпарировал резко юноша, – я прибыл сюда с паном Сулиславом, хочу заработать рыцарский пояс.

Не покрытое ещё юношеским пушком свежее личико очень молодо выглядящего парня, должно быть, пробудило чувство какого-то сострадания в князе. Ему сделалось жаль этого ребёнка, который так преждевременно шёл на смерть с таким весельем на лице, и сказал, приглядываясь к нему с улыбкой:

– И поэтому ты с нами на войну собрался?

– Я отпросился у отца, потому что, когда другие идут, мне не годилось дома остаться, – воскликнул Павлик, не опуская глаз.

– А силы есть? – недоверчиво отпарировал князь.

Улыбнулся сын Яздона. У пояса у него был мечик, который ему как раз подвернулся под руку. Не вынимая его из ножен, он поднял его только, взял обеими руками, нажал и сломал.

Это был его ответ на вопрос князя. Потом с панской гордостью он отцепил сломанный нож и, хотя он богато был окован, бросил его прочь от себя стоящей с факелами челяди под ноги.

Князь Генрих весело расмеялся, показывая его сидящим рядом. Те покачивали головами, глядя на него с интересом.

– Когда ты такой сильный и охочий до испытания и битвы, – сказал князь, – стань же завтра с Ростиславом и Яном Яничем при мне. С радостью буду смотреть на вашу встречу в первом поле... Пусть Бог даст вам удачу.

Павлик, покрасневший от радости, поклонился, хотя Воюш, стоящий вдалеке, шикнул. Не чем было уже помочь. Знал старый Сова, что стоять при князе, значит, подвергать себя самой большой опасности, потому что Генрих должен быть всегда там, где кипел самый жестокий бой.

Ничто не могло сравниться с радостью Павлика, который, казалось, вырос в глазах и ужасно возгордился. Спеси ему прибыло ещё.

Затем неподалёку у другого стола кто-то затянул немецкую песню, и все, обернувшись к нему, стали прислушиваться.

Только Генрих нахмурился, потому что это была любовная песня, и довольно легкомысленная, а минута для пения была плохо подобрана. Дали, однако, закончить этот минелид, а князь после последней строфы громко сказал, что, ежели хотели петь, подобало только какую-нибудь набожную или рыцарскую песнь спеть.

До этого, однако, не дошло, а шум голосов стал всё сильнее. Князь перепил соседей, поощряя их:

– Будем в хорошем настроении, – говорил он, – как настоящие рыцари. Давайте сердца себе согреем, чтобы и в руках сильнее кровь текла.

Старались быть весёлыми – но мысли отбегали к домам.

Среди шуток и смеха тот и этот шепнул новость об уничтоженных монастырях, о городах, лежащих в руинах, о Сандомире и Кракове, о количестве пленников, угнанных в неволю.

– Наш князь, – вставил Сулислав, – благодаря Богу, уцелел. Мы не хотели того, что нам дороже всего, бросать на произвол судьбы, ему пришлось бежать в Германию, потому что у нас для него не было достаточно силы.

– Он лучше бы сделал, – забормотал невнятно Шепёлка, остро глядя на Сулислава, – если бы жену отвёз в Венгрию, а сам прибыл к нам. Он набожный, – прибавил он, – это правда, а она, достаточно сказать, что племянница Ядвиги, но для рыцарского дела слишком мало подходит.

Сулислав горячо заступился за своего пана.

– Он бы рад пойти, вырывался от нас, – сказал он, – но мы его не пустили. В то время был ещё жив мой брат, когда мы его в Венгрию вынудили ехать. Краковскому замку нечего было доверять, а в поле стоять одним нам было не с чем...

Никто уже не отвечал на это. Князь Генрих встал со своего места.

– Время, – сказал он, – будто бы полночь близко! Мы разойдёмся немного отдохнуть, чтобы встать более резвыми на рассвете.

Рукой он дал знак своим гостям.

– Сегодняшней ночью мало кто вкусит сон, – проговорил Шепёлка, вставая.

Начали подниматься другие, но медленно. Много немцев осталось при кубках. Павлик также с великим нетерпением вовсе не хотел ложиться. Выйдя из залы, он поспешил к Ростиславу и Яну Яничу, объявляя им о приказе князя, и прося, чтобы его привели в лагерь. Побежал потом в хату, а за ним беспокойный Воюш.

Там, хоть уже было далеко за полночь, Павлик, по дороге собирая товарищей, не слушая старого, настаивающего на отдыхе, заново начал свои выходки. Не было способа ни отобрать у него кувшины, ни разогнать гостей. Слышались песенки, совсем не набожные, слушая которые несчастный клеха, вынужденный уже остаться в избе на постлании, – уши себе затыкал.

Так прошла практически вся ночь.

По мере того как приближалось утро, лица становились серьёзней, оживление во всём лагере чувствовалось всё больше. Некоторые отряды уже выходили за валы.

Тем временем самое достойное рыцарство спешило в костёл Девы Марии, в который уже попасть было трудно. В большом алтаре горели свечи, а ксендз со святым причастием неустанно обходил коленопреклонённых. Другие духовные тут и там, присев на ступени, на лавки, даже стоя, исповедовали подходящих солдат, почти не слушая их признаний, отпуская им грехи как можно живей, потому что другие тут же с плачем и мольбой тиснулись и напращивались.

Толпа неустанно вливалась в костёл и выливалась из него, одна месса шла за другой, начинало светать. Апрельские ночи уже были коротки.

Рыцарство князя Генриха устраивало тренировочные турниры, согласно его приказам, он ещё продолжал молиться.

У них была верная информация, что татары были разделены на пять групп, поэтому и князь Генрих хотел разделить на столько же своих людей. Солдаты неспешно тренировались, потому что многие из них ещё в костёле ждали за покойной службы, а в этом никому отказывать не годилось.

С башни костёла Панны Марии поставленная на неё стража давала знать, что видела. Татары уже двинулись из логова.

Можно было даже отсюда разглядеть их пять отдельных кучек, а над ними какие-то развевающиеся полотнища, словно хоругви.

Иногда ветер приносил издали как бы глухие крики.

День, казалось, становился ясным, но утренних туч солнце ещё не могло разогнать. Командующие на конях, крутясь тут и там, гоняли и строили отряды.

Князя Генриха ещё не было на плацу, только у костельных ворот ждал его личный отряд с Ростиславом и Яничем, и Павлик с ними. Много немцев, закованных в железо, уже были на конях, одетых в кольчуги, в тяжёлых шлемах, на которых торчали рога, трубы, крылья и разные птицы.

Каждый из этих так красиво экипированных мужей казался непобедимым. Что же могли против них стрелы? Что могли хоть бы и татарские мечи? Даже их кони доспехами были оснащены.

На поле роилось всё больше люда, а князя Генриха ещё не было.

Он долго молился у ступеней алтаря, не тревожась, но всё больше черпая мужественный дух. Казалось, дух матери вступает в него и вливает ему великое мужество.

У алтаря седой ксендз-старичок, закончив раздачу просфир, благословил поднятым вверх сосудом, склонили головы, наступила тишина, князь Генрих ударил в грудь, встал...

За ним все двинулись из костёла – час был уже поздний, солнце вставало.

Тиснулись за ним те, что ещё молились, когда на самом уже пороге стоящий князь услышал какой-то треск над своей головой, и камень, неожиданно падая с верхней стены, лёг у его ног так, что задел кончик шишака, который князь надевал.

Князь Генрих отступил на шаг, немного побледнел.

Павлик, который тут же стоял и глядел на это, вполголса весело произнёс:

– Доброе предзнаменование! Камень упал, но не задел нашего пана! Дьявольская сила его бросила, а о Божью опеку разбилась! И та, что нас там ждёт в поле, бессильной будет...

Князь, услышав это, грустно улыбнулся и благодарно поглядел на смельчака. Камень, разбившийся от падения, большой, как приличная буханка чёрного хлеба, лежал у его ног.

Все поспешили за ним.

Отряды строились на так называемом Добром Поле у Нисса...

Первый, который уже раньше казался и был готов, когда князь приехал на него посмотреть, составляла разная дружина, собранный народ, прибежавшее со многих сторон рыцарство, немцев в авангарде было достаточно, которые тут командовали, старый Берtrand, что был под Дамьеттой, и так об этой осаде любил рассказывать, стоял тут так же.

Тут были солдаты не одинаково вооружённые, а так как собралось их немного, прибыли также горняки из Злоторы, народ сильный, крепкий, закалённый, но вооружённый больше молотами и обухами, чем оружием, имеющий кое-какие луки. Некоторые из них несли только простые щиты, были кое-как одеты в шкуру.

Где не хватало нормального солдата, дополняли горняками, которые показывали много храбрости. Вождём тут выбрал себя Шепёлка, за которого выдавал приказы моравянин Стемпек, его полководец, потому что того трудно было порой понять.

Горняки, над которыми насмехалось лучше вооружённые немецкие рыцари, так близко приняли это к сердцу, что стали кричать и требовать, чтобы первыми вышли на битву.

Князь Болеслав вовсе этого, по-видимому, не желал, но горняки настаивали всё сильней, и когда князь Генрих приблизился, начали кричать из рядов:

– Мы пойдём вперёд!

Поднимая вверх обухи, они согласно повторяли:

– Мы первые! Мы первые!

Немцы также им в мужестве уступить не хотели, и спорить не смели. Князь Генрих согласился с их требованием.

– Один Бог знает, в чём сила, – сказал он, – правда, что первое столкновение часто решает исход битвы, но когда имеют большую охоту и смелость...

Шепёлка должен был с этим согласиться.

Так, больно отомстив за издевательство, горняки первыми пошли на Доброе Поле, рьяно затянув песню Богородице.

Затем огласилась околица, потому что все другие отряды за ними начали петь.

С башни Панны Марии всё лучше было видно направляющихся уже к полю татар. Сверху смотрящие мерили глазами, какое пространство занимали свои и их отряды.

Увы! Каждая из этих пяти татарских групп десятикратно числом превосходила отряды войска, сосредотачивающегося на равнине над Ниссой.

Второй отряд, которым командовал Сулислав, полностью был составлен из краковян и великополян, хорошо вооружённый, в светлых панцирях, над ним красная хоругвь, что уже не раз обагрялась кровью. Тут было место Павлика, но мальчик с радостью, что вырвался, ехал с князем. Воюш ехал тут же за ним следом. Краковян и жителей Познани было не больше, чем первых, и хотя построились шире, не числом превосходили, но внешним видом и фигурой значили.

Сулислав, рыцарским обычаем, выбрался на бой, как на праздник, потому что в те время каждый брал что имел наилучшего, когда должен был столкнуться с неприятелем, и день схватки был великим торжеством. Поэтому и он надел сверкающий панцирь, а на шлеме сидел золотой гриф, эмблема всего его рода. На щите также был изображён гриф с открытым клювом и высунутым языком, раскрашенный и позолоченный.

Ополяне представляли такой же небольшой числом третий отряд. Люд энергичный, статный, хорошо вооружённый, потому что немецкое оружие было привезено туда давно и также господствовал немецкий обычай. Вёл своих Мечислав Опольский, а с ним было много разных бродяг, швабов, саксонцев, франков, тюрингов, потому что любил их, как все силезские Пиастовичи, что из Германии матерей имели.

Когда подъехал князь Генрих, они поздоровались и обнялись по-братски, но слова промолвить ни один не мог. То было время, когда уста немели, великая пора, в которой говорили глаза.

Солнце медленно, тяжело пробивалось из-за туч. Ветер со стороны татар приносил смрад конского пота и гари.

В четвёртом отряде стояло несколько братьев и немного кнехтов, которых крестоносцы присылали неохотно, но на тех много рассчитывать было нельзя, только что с собой для обмана хоругвь ордена принесли, как если бы их там было больше... В действительности пришла жалкая горсть, а остаток небольшой кучки заполнял разный люд, не слишком рыцарски выглядящий. Этих князь Генрих проехал, едва поздоровавшись. Не много ожидал от них пользы.

В последнем отряде был виден лучший отбор рыцарства самого князя, на котором было преимущество. Тут собрались цвет и сливки общества. Таким образом, сначала придворные и наёмные немцы: франки, швабы, саксонцы от Бранденбургов, всё люди, что уже ни на одной земле и ни с одним захватчиком воевали. Много также было из Вроцлава и со всей Силезии оседлых землевладельцев, что на все войны ходили, а в то время их было сколько угодно. Добрый люд, огромные вояки, отличные доспехи, умелая дисциплина. Каждый из них готов был идти на десятерых, с копьём, мечом, с обухом, с луком, некоторые с железными цепями. Многие также имели сильные арбалеты, стрелы которых насквозь пробивали человека. Те были тверды, как стена, но, как камень, также тяжелы в бою.

Уже так все построились, храбро подняли хоругви, и снова звучала набожная песнь.

Каждый занял своё место и держался его... Татарская сила уже показалась с противоположной стороны.

Серая толпа была невзрачной и подвижной. Отряды этой мерзости тянулись такие великие, что каждый из них поглотил бы все вместе отряды Генриха, если бы он не расставил их широко.

Земля начала греметь и дрожать под стопами коней и людей. Сразу долетел странный гул, словно текли весенние воды, потом топот густых конских стад. И смотрящим казалось,

будто там были почти одни кони, и мало где виднелась людская голова; мало где торчал лук вверх или копьё.

Из этого шума вырывались всё более отчётливые крики, какой-то визг, завывание, призыв...

– Сурун! Сурун!

Из тысячи глоток всё выразительней звучало: «Сурун!»

В отрядах князя Генриха спокойно заканчивали петь набожную песнь. Они стояли стеной, только некоторые лошади, будто бы испуганные, дрожали под наездниками, приседали, и с трудом их можно было удержать на месте.

Их храп заглушал пение людей. Песнь, в конце оборванная воем татар, утихла. Уста перестали издавать звук, дыхание спёрло, глаза всех были обращены на эту толпу, которая росла в них, передвигалась, становилась гигантской, распространялась всё шире.

Уже можно было заметить идущих впереди свободно людей и у каждого из всадников коня на верёвке без человека, так что громада, ими увеличенная, казалась ещё более страшной. Это придавало силезцам немного смелости; неприятеля больше было видно, чем было на самом деле.

Численность, однако, и так была страшной... как поглядеть с башни, конца этому наводнению было не видно. Наступали, наступали, росли, бесчисленные...

Казалось, они вырастают из-под земли, множатся каким-то волшебством. Забегали вправо и влево, опоясывая широко кругом, обнимали, как гад, который свою жертву обвивает кольцами, прежде чем задушит её и пожрёт. Только река, казалось, заслоняет от них с одной стороны, но для этих диких созданий вода не была никакой помехой. Бросились в неё густой кучей, громадой, так, что казалось, запрудили реку, которая покрылась всем множеством голов конских и людских.

Князь Генрих стоял со своими на взгорье – смотрел.

Только за ним уже было свободное поле, перед ним татары занимали его со всех сторон.

Затем со стороны дикарей одновременно с криком: Сурун! зашелестело, небо затмилось густой тучей татарских стрел, которые вдруг начали биться об железные доспехи и греметь.

VI

У окна на башне костёла Девы Марии стоял седой, как голубь, ксендз с заломленными руками, в которых держал крест. Не чувствовал того, что его руки в судорожном объятии сломали знак спасения. Уста его пытались шептать молитву, но каждую минуту деревенели от тревоги.

Зрелище было ужасное, потоп каких-то людей, едва похожих на Божьи создания, яростный, бесформенный, безумный, опьянённый... как морская волна двигался и плыл, разбивая, что встречал перед собой. Никогда осенний ветер, что стонет в горах и челюстях скал ночами, не воеет таким безжалостным голосом уничтожения и смерти.

Старичок затыкал уши, спрятав на груди крест, и всегда слышал шум... закрывал глаза и видел эту чернь, как вокруг опоясывала, сжимала Божьих рыцарей. Затмила ему небеса туча стрел, закрыла тех, что встали против них. Затем упала, ксендз вздохнул – рыцари стояли как стена, нетронутые. Затем такое же другое свистящее облако закрыло ему их снова.

На челе с собранной дружиной двигались смелые горняки.

Они бросились на дичь с великой силой и как клин вбились в это чудовище. Видно было татар, которые мчались навстречу, как от первого удара согнулись, поддались, заколебались. Их маленькие кони начали разворачиваться и падать... Некоторые сорвались с верёвок, летя в одиночку на своих и прибавляя замешательство. Ксендз старичок благодарственно воздел руки.

Дичь, текущая великой силой, с одинаковой стремительностью, после того, как её оттолкнули, начала отступать. Горой текла хоругвь горняков Золотой Горы, гнали их, не давая остановиться. Вперёд! Вперёд!

Ксендз начал молитву во славу Богу за победу, когда, снова открыв глаза, желая увидеть своих, увидел уже только какое-то кипящее месиво, толпу, в которой никого не мог распознать.

Посередине толпы уже не видно было тех, что в неё, как в бездну, упали. Временами что-то двигалось в самой этой давке, что-то блестело, будто бы те победители. Наконец пожрал их тот натиск. Не осталось ничего, только снова та же толпа, серая, рычащая, ползущая и дико воющая: «Сурун!»

Князь Генрих стоял, смотрел и молился... железный, неподвижный. Его было видно со свитой...

Полки, что стояли первыми за горняками, которые исчезли, снова засыпал этот град стрел.

Не было сомнения, что Болеслав и весь его отряд, что так мужественно напал на неприятеля, уже был им пожран. С башни среди чёрного муравейника было видно как бы кровавое пятно, в котором кое-где светились отражённые лучи солнца – и трупами устланную полянку. Дичь окружала её, нажимала и рассеивалась снова.

Сулислав с краковянами и ополянами смело бросился вперёд. Не потеряли они мужества, утратив проводников. Великая неразбериха была видна на поле и окрики долетали на башню. Два польских отряда стояли против трёх татарских и фанатично сражались – не могли продвигаться вперёд, но не отступали ни на шаг.

Как два борца, что хватают друг друга за плечи, столкнулись два полка и дикари, сбившись в густое тело. Падали с лошади и с лошадьми татары, но на их место тиснулись новые, не переводились они, казалось, множились от трупов падших.

Сулислав сдерживал их шаги, ополяне его поддерживали, два отряда слились в один. Как скала стояли они на месте, пока из отряда князя Генриха не раздались радостные крики. На защиту своих хотели лететь оставшиеся в резерве, князь их задерживал.

Не время было!

Последнюю силу не мог растрачивать. С башни видно было, как дикари снова заколебались, как закрутились на месте, гордо собрались вдалеке в единую глыбу, не желая уступать, не в состоянии победить. Затем дрогнуло что-то в этих кучках, заколебались. Поляки крикнули, татары были сломлены.

Сулислав медленно следовал за ними. Ополяне шли равным с ним шагом.

Полки, стоящие в тылу, двинулись. Князь Генрих дал знак.

Ехали сначала медленно, но кипело в них, а какой же силой можно удержать солдат. Вождь и слуги потеряли головы – неприятель уходил, выскальзывала из рук месть... Вперёд! Вперёд!

Ксендз закрыл глаза. Все полки исчезли от него среди волнующегося наводнения людей. Кто победитель? Кто побит?

Нельзя угадать. Кое-где поясами светятся железные доспехи, серыми полотнищами двигаются татарские стаи.

Змеёй свёртываются полки среди окружающей их дичи, которая убегает и окружает, уходит и засыпает стрелами.

С башни ничего не видать. Ксендз встал на колени, положил лицо на край холодного камня и смотреть уже не смеет.

Как штора, которую качает ветер, вся эта толпа то продвигается вперёд, то сворачивается, то склоняется, как рваная кайма у штор, по краям виден был рассеянный муравейник.

Шум людских голосов, конского ржания, стонов умирающих, победных окриков – всё смешалось в один вой и мощный крик, будто бы шум морских валов, что бьются о берега.

Князь Генрих мчался с горящими глазами, татары от него уходили, рассеивались, но случилось, что в этом бегстве они одновременно появились со всех сторон; стрелы их сыпались постоянно. Среди собственных людей показывались их головы, которые сжимались и сталкивались, и ползли, и вырастали немеренно.

Князь Генрих оказался уже около ополян. Сулислав был где-то спереди, поляки кучками, разбитые, летали, сражаясь и убивая.

Никто уже не знал, где он, и в какую направится сторону, – темнота и путаница были везде. Опольский, направляя коня вперёд, встречал всё новые и всё более твёрдые препятствия. Убегающие закрывали ему собой дорогу.

Среди шума он услышал вдруг голос сверху:

– Бегите! Бегите!

Кто говорил эти слова? Казалось, они выходили из татарской толпы, каким-то эхом они повторились со всех сторон.

– Бегите! Убегайте!

Князь Мечислав побледнел, огляделся вокруг. За ним ещё были видны лигницкие стены. Сам конь или он развернулся?

Те, что его окружали, колебались, крутились; начали уходить, переполох увеличивается, отдельные всадники убегают, наклонившись на шею лошадям.

Генрих онемел – не мог найти слова для крика боли, и начал кричать:

– Сюда! Сюда!

Заметив ополян, которые развернулись для побега, он мчится, чтобы закрыть им дорогу; татары ему её перегораживают.

Ополяне уходят!

Дикари наступают на них. Как волна, отходящая от берега, идут, возвращаются назад, они всюду...

Среди этой сбившейся черни полк Сулислава со своей красной хоругвью ещё с кучкой пересекается, идёт с ней, держится вместе. Падают перед ним валами жертвы, но на них тот живой зверь пустыни поднимается, нажимает.

Диво дивное! Над головами чёрной толпы вдруг что-то зашелестело, ветер медленно развеивает какую-то хоругвь, окрашенную в кровавый цвет.

Она сверкает как человеческая кровь, когда застывает, пурпуром, желчью и зеленью, которые попеременно меняются; а под ней торчит огромная человеческая голова, лохматая, страшная, с открытыми устами, с высунутым языком, стеклянными трупными глазами, бледная и вроде бы живая. Из её ноздрей клубится зловонный пар, как бы испарение гнилых трупов; глаза её слезятся и дымятся, волосы, казалось, широко расплываясь, обращаются в дым, который влачится над полем боя. Кто поглядит на эту чудовищную голову, упадёт в обморок; кому дым от неё залетит в грудь, тот ослабнет и падёт. Безымянная, беспричинная тревога охватывает сердца, они беспокойно бьются, вынуждают к безумному бегству.

Сатанинская хоругвь, кажется, растёт в воздухе, голова становится гигантской, я сказал бы, плащём крови покрыла поле боя. Дым или она тяготеет над войском и давит его. Под складками этого зловещего знамени отряд Сулислава шатается, но сражается... Ещё гонят и напирают, но всё слабей. Груды рыцарей нечего вздохнуть, глаза их ничего не видят, в ушах стучит татарский: Сурун! – и какой-то смех, издевательский, как свист дьявола. Польский строй, который широко рассеялся и отбивал от себя наплывающие волны, уменьшается, сужается, мельчает, сосредотачивается, разбивается, исчезает. Ещё его красная хоругвь поднимается в воздухе, но под ней торчит, словно хотела её пожрать, та гигантская голова, дымящаяся ядовитым смрадом, из которой слышится смех трупов... И ничего не видно, только колышущиеся волны татар.

Князь Генрих со своими держится храбро, остался им на последнюю добычу. Для увеличения страданий дали ему глядеть, как погибали другие, как надежда сопротивления исчезала, как мученическая смерть подступала медленным шагом...

Он должен был страдать за них и за себя, но не увлажнились его глаза. Он посмотрел на свою верную кучку, поднял меч вверх и с ней помчался на толпу неверных.

– Милостивый князь, – воскликнул Ростислав, – ваша жизнь стоит больше всего солдатства, потому что вы вождь народа! Мы должны вас спасти, нужно через них пробиться к лесу... там будем в безопасности!

Князь не слушал – рубил и сёк фанатично... Татары узнали в нём вождя и опоясали кругом, который, как кольцо, сжимался. Если вырвется более смелый, то погибает.

Ростислав, Янич, сильнейшая горстка силезцев и немцев не отходят ни на шаг от князя, заслоняя его грудью. Юноша Павлик вертится как безумный с неосторожностью того, кто никогда в бою не бывал... Воюш забегает и заслоняет...

– Вперёд! – кричит Ростислав.

И вперёд стремятся рыцари, но напрасно... Кони спотыкаются и падают на трупах, на умирающих, что им режут внутренности, люди сползают на землю и уже с неё не встают.

Рыцари ёжятся от стрел, которые в них застряли.

На Клеменса из Пелчницы какой-то бес набросил верёвку, задушил его за шею и свалил с коня.

Ростислав, не переставая, кричал:

– Вперёд!

Но единой стеной стоят напротив сбившиеся в одно тело кони и татарские всадники. Исподлобья блестят их глаза, белеют их зубы в раскрытых ртах, смеются костлявые щёки.

Среди этого отряда даже трупы стоят, как живые, убитые лошади, как каменные, держатся в стене. Ни сломить его, ни повергнуть.

– Вперёд! – кричат Ростислав и Янич.

Отсекают конские и людские головы... брызжет кровь... но стена стоит... бреши пробить нельзя.

Павлик, который стоял с тыла, пробивается с конём к князю, держа в руке огромный меч. Опускает его на обнажённую голову татарина. Ударил раз и другой, сперва вырвался один конь, уходя к силезцам. Павлик бросается в эту щель. Янич за ним, Генрих с ними.

– Вперёд!

Толкаются и секутся.

Каким-то чудом татары расступились, а скорее припали к земле – всполошённые кони вырвались, напрасно среди толпы втискивается силезский князь, и мечом рубит, что замечает.

Среди дыма лес, спасительный лес замаячил уже перед ними. Вдали вырисовываются его сухие ветки.

– Вперёд! – не перестаёт кричать охрипший Ростислав.

У Павлика из рук и из груди льётся кровь. У Воюша пробито лицо, шлем его сбросили. В щёку воткнулась стрела, которую он тщетно пытался вырвать.

От доспехов князя Генриха отбиваются удары, но окровавленный конь под ним падает, ослабленный ранами. Отряд, окружающий князя, мелькает, старый Воюш закачался, соскользнул на землю, исчез. Павлик погрузился в заросли.

Затем у бока вождя оказался Сулислав, с ним Клеменс, воевода Глоговский, Конрад, Янич, Ростислав.

Их уже только горстка, но до сих пор ещё победная. Виден лес. Татары ушли немного в сторону, из последних сил князь бежит вперёд.

Затем застучало, толпа возвращается, с криком их осаждают, закрывает дорогу к лесу! Окружила.

Начинается бой за жизнь или смерть.

Янич с Павликом, который, уже погребённый под трупами, воскрес снова, схватил коня и защищается отстёгнутым мечом, идя впереди, прокладывая князю дорогу. Татары уступают им.

Узнали по шлему вождя, поджидают его.

Уже был виден только один мужественный князь, было видно, как он всё поднимает меч вверх. Он обнажил живот, на котором не было брони, татарин ударил в него изо всех сил и пробил. Шлем князя задрожал и упал с головы, волосы рассыпались на плечи, пал сын Ядвиги...

Затем гурьбой дикари бросились на эту добычу с криком, который, как гром, прошёл по полю боя.

На высоком жерде торчит благородная голова обезглавленного мученика, ещё дрожащая... её губы, казалось, кончают молитву.

Это голова Генриха Благодетельного – он погиб последним.

Яник и Павлик тем временем мчались, не зная, что делалось за ними, – чудом пробились через толпы, гонят!

Девять татар на маленьких конях их преследуют. Шлем Янича их искушает, а у Павлика – молодость.

Но кони обоих рыцарей обгоняли татарских. Как не обернутся, видят только погоню. Где же князь?

Янич и Павлик думали, что он уцелел. Поэтому мчались вперёд, имея за собой только этих девяти преследователей. Сбоку подъехал к ним ошалелый от тревоги немец Лузман, наполовину без доспехов.

Было их трое на девяти язычников.

Они по-прежнему их преследовали. Татары легли на коней, воют и мчатся. Иногда посылают им стрелу, которая просвистит в воздухе, порой пускают длинную петлю, которая падает на землю. Уходят – ушли!

Огляделись – из девяти осталось шесть; огляделись – только трое ещё видны; вот и исчезли все.

Но и у их коней дыхания уже не хватает. Необходимо остановиться. На дороге им как раз попала сгоревшая деревня.

В ней не было живой души, а ещё будто живая стояла.

В сгоревших хатах виден был простой деревенский порядок, который уцелел по углам. Колодцы с журавлями, которыми двигал ветер, целые во дворах, кое-где плетень и ворота, раскрытые силой. На дороге кровавый платок лежал как убитый, рассечённый труп ребёнка на пороге, нагой и почерневший.

Павлик, Янич и Лузман остановили коней.

Немец подбежал к колодцу за водой, заглянул в глубь и крикнул – он был полон трупов. Тут же протекал ручей, пошли из него зачерпнуть, на берегах видна была застывшая кровь.

Павлик тем временем вырывал стрелы из своей одежды и тела. Янич отдыхал, опираясь о столб. Лузман стонал, глядя на израненное тело. Издалека с ветром доходили до них победные крики татар.

Едва немного отдышались, когда немец показал на дороге мелькающие фигуры троих татар. Они скакали за ними, а скорее, катились по тракту, словно три чёрных ядра. Янич вздрогнул, Павлик уже сидел на коне. Из этих трёх преследователей тогда выросло шесть. Мгновение, и снова девять мчатся по дороге и кричат.

– Янич, кони уже не пойдут дальше! – воскликнул Павлик. – Но мы можем ещё биться с этой мерзостью. Трое на одного? Не много!

Дикий парень, несмотря на угрозу, от которой только что ушли, рассмеялся сердцем, больше дерзким, чем рыцарским.

– Будем биться!

Янич сел на коня, Лузман молча последовал его примеру.

Они стояли, прижавшись друг к другу, поворачиваясь к подбегающим татарам, которые, как вихрь, стегая коней плетьюми, гнали на них. Янич и Павлик имели ещё остатки копий в руке, Лузман – обух, который у него чудом остался у седла.

Когда первый из погони подскочил к Павлику, тот одним ударом в голову трупом его положил. Свалился с коня... Прежде чем другой поспешил за него отомстить, Лузман поранил его и покалечил, а так как имел разъярённого коня, когда татарин пал, тот уничтожил его, давя копытами под собой.

Янич также мужественно сражался, а среди боя повторял только:

– Если жизнь сохраню, Богу в жертву её сложу!

Павлик, никаких клятв не давая, рубил и сёк. Восемь татар лежало побитых, девятый раненый отчаянно защищался, когда Лузман, напав на него, скрутил его верёвкой.

Так окончился этот бой.

На тракте больше не было видно погони. Утомлённые воины сели на землю, разглядывая трупы. Павлик, как ребёнок, с любопытством потрогал их концом сломанного копья, дабы лучше приглядеться к этим созданиям. Подобных людей они отродясь не видели. В последнем крике открылись их уста, обнажая волчьи белые зубы, а вывернутые глаза на глаза дикого зверя были похожи.

Павлик вздохнул – ему на ум пришёл его старый Воюш. Он видел, как, гонясь за ним и заслоня его, он упал.

– Вечный ему покой! – шепнул он. – Зато я теперь свободен!

Недолго они могли тут отдыхать, счастьем, Янич в окoliце хорошо знал дороги.

Ему казалось долгом пробраться в Кросно, чтобы быть послем несчастья бедной матери, потому что, хоть и не видели падающего князя Генриха, не могли сомневаться, что остался на Добром поле.

Скорбно молчащие, они медленно пустились к лесам.

С башни костёла Панны Марии никто уже не смотрел на поле боя, на которое храбрые люди, предчувствуя смерть, пошли умирать. Несколько несчастных беглецов дотащилось до ворот, обливая кровью дорогу. Принесли запертым в стенах жалобное слово:

– Князь Генрих пал в бою... Болько Моравский пал в бою...

Погиб Опольский, убит храбрый Сулислав и Клеменс, Глоговский воевода, и Конрад, и все, которые шли на то, чтобы погибнуть за веру.

В Лигницком замке осталась небольшая горсть подкрепления, немного ксендзов и мещанского люда. Заперли ворота – ждали.

На рассвете следующего дня, когда колокол звал в костёл на мессу, чернь ему криком отвечала из-за валов. Замок был со всех сторон окружён.

Против ворот стоял на коне татарин, держа воткнутую на жердь человеческую голову. Старый ксендз, который смотрел с вершины стен, узнал посиневшее, трупное лицо своего пана, и упал с плачем на землю. С этой головой язычники начали обегать замок по кругу, а где на валах показался люд, поднимали её и наклоняли.

– Смотрите, вот ваш господин!

Русинов, которых они с собой вели, послали поторопить, чтобы замок им сдался. Отвечали молчанием. Мещане заперлись, решив обороняться до конца.

День, два находились под валами татары, на третье утро их не стало. Ворота оставались запёртыми ещё в течение всего дня. Боялись их хитрости и предательства.

Четвёртого дня выслали ночью на разведку. Отряд пошёл к Одмухову и там встал лагерь.

Только когда из Болесиска повернули к Моравии, осторожно открыли ворота, чтобы идти на поле боя и достойно похоронить тела христианских рыцарей.

Лежали ещё кучами, как упали, трупы погибших, без голов, без ушей, ужасно порубленные и спутанные, лишённые одежды, избавленные от доспехов, с телами, покусанными ворогами и волками. Узнать их уже никто не мог, поэтому в могилы складывали вместе, а останки князя Генриха, чудесно опознанные по шести пальцам на ноге, перевезли во Вроцлав.

Павлик с Яничем добрались до Кросна; они первые туда принесли страшную новость.

У Янича, когда стоял у ворот, не хватило храбрости, чтобы объявить матери и жене, что сына и мужа у них не было.

Когда им открыли дверку, Янич в неё вошёл, на всякие вопросы отвечал только, что ушли ранеными, битва была проиграна, а о судьбе князя не знали. Их обступили, они сели раненые, страдающие, немые, на землю, на вопросы покачивая головами.

Затем сбоку открылась костёльная дверца. Стояла в ней бледная женщина в сером, грязном платье, похудевшая, с впалыми щеками, держа в руке белую фигурку Божьей Матери.

Глазами искала прибывших. За ней, как тень, скользила с закрытыми, заплаканными глазами княгиня Анна.

– Не спрашивайте их, – сказала старшая княгиня, – не спрашивайте с напрасными надеждами, ибо то, что было предназначено, должно было случиться. Пролилась кровь христианская во искупление этой земли. Сын мой пал. Я видела его с отсечённой головой, лежащего на кровавом поле боя, видела во сне и на молитве.

Честь Тебе и слава, Господи, и благодарю Тебя, что я дала свету такого сына, который был для меня любимым ребёнком, а не выжал из меня ни одной слезы. Я радовалась его жизни и счастьем, но радуюсь благочестивой смерти.

И, не пролив ни одной слезы, княгиня начала молиться.

– Матушка, – отозвалась княгиня Анна, – о его смерти нет ещё вестей! Он, может быть, уцелел, раз тем, кто был ближе к нему, удалось спастись. Я узнаю Янича! Тот не покидал его никогда.

Затем в дверь втиснулся оборванный человек и, кланяясь до земли, поздоровался с княгиней.

– Меня послали из Лигницы! – простонал он.

– Говори! – прервала его храбрая княгиня Ядвига. – Говори!

Посланец только руки поднял к небу и опустил их молча к земле. Слов ему не хватало.

– Все погибли? – спросила княгиня.

– Погибли!

За княгиней послышался плач, она с суровым лицом обернулась к женщинам, стоящим за ней.

– Не грешите, оплакивая рыцарскую и христианскую кончину!

– Князь, пан мой! – крикнула Анна, наклоняясь к посланцу.

– Пал, – сказал коротко посол.

Княгиня закачалась и, заслонив лицо, села на землю, руками обхватывая голову, княгиня-мать храбрым голосом произнесла через мгновение:

– Вы нашли тела павших? Сына моего?

Посол, рыдая, отвечать не имел силы, княгиня Ядвига смотрела на него с жалостью.

Несломленная болью, она повернулась к костёлу и пошла с мраморным лицом к алтарю – благодарить Бога.

Павлика, Янича и немца забрали в монастырь, чтобы вылечить раны. После этого поражения, которое не пощадила ни одну семью, всё тут было в трауре. С утра до вечера были слышны плач и стоны, только Павлик уже третьего дня, перевязав раны, начал выходить из избы, чтобы не слышать жалоб Янича и рассказов других спасшихся, кои приходили туда.

К нему возвращалась та безумная натура, нетерпеливая, горячая, нуждающаяся в постоянном сметении, смехе и проказах.

Когда Янич оплакивал погибших, Павлик пожимал плечами.

– Нужно прочесть здравицу св. Марии за душу нужно, уж тебе надлежит, – говорил он ему, – а, выплакавшись, думать о жизни. Те, что померли, кроме мессы, не нуждаются уже ни в чём. Татары всё-таки не вырезали всех, останется хоть немного люда.

Женщины и служба при монастыре, которой доверили присматривать за ранеными, стали милейшим обществом Павлика.

Не обращая внимания на их монашеское и полумонашеское одеяние, он видел в них только женщин, а к этим имел великое притяжение.

Особенно послушница Луция, девушка с опущенными глазами, со светлыми волосами, от которых едва пучок выглядывал из-под накидки, робкая, краснеющая, попала на глаза сыну Яздона. Звали её по-монастырски Сестрой, хотя её возраст не позволял дать монашескую клятву и была там только на испытании.

Когда она проходила со старшей Гауденцией, неся корзинку с едой или бельё, Павлик уже был заранее на часах, чтобы его у неё отобрать, тихо поздороваться и что-то шепнуть. Девушка, воспитанная в суровой монастырской дисциплине, не отвечала, но невольно поднимались её длинные ресницы и веки, и детский взор падал на красивого юношу, невинный и так много говорящий, что у Павлика мурашки пробежали по коже.

Когда он сидел один на один с Яничем, хотя тот, уже дав обет, готовился вступить в доминиканский монастырь, а всяческой легкомысленной болтовни избегал, Павлик безжалостно его дразнил, рассказывая, как эта Луция ужасно ему понравилась. Янич сурово его попрекал и ругал.

– Благодарил бы Господа Бога, – говорил он, – что чудом избежал смерти, и эту жизнь, которую сохранило Провидение, ты должен бы, как я, посвятить службе костёлу. А у тебя, едва раны немного залечились, уже какие-то мысли по голове крутятся. Тебе уже эта Божья служанка приглянулась... а это кошунство...

– Что же, я в этом виноват? – отвечал Павлик. – Таким грешным Господь Бог меня сотворил, что женского, молодого взгляда выдержать не могу, чтобы во мне недостойная кровь не закипела. Мать Гауденция, хоть бы целый день на меня смотрела, ничем не навредит, но та, та!

– Молчи же, подлый трутень! – громил Янич.

Ругань вовсе не помогала. Павлик, всё чаще выскальзывая из комнаты, стоял на пороге и поджидал, ловил девушку, заступал дорогу и почти принуждал к разговору. Задиристый был сверх всяких слов.

Раны от стрел как-то быстро начали заживать, потому что кровь имел здоровую и силы молодые, мог бы уже идти смело в Пжеманков к отцу или куда-нибудь в свет выбраться, но это несчастное искушение держало его в монастыре.

Впрочем, было ему там неплохо, потому что княгиня-мать, как убогих, так раненых и больных с панским милосердием всем обеспечивала, а работы не имели никакой. Янич с капелланом Лютольдом целыми часами беседовал о своём будущем призвании. Долго спорили о том, должен ли он стать сыном Доминика или Франциска.

Павлик, пустая голова, был за Франциска, из-за того, что и князь Болеслав Краковский, и княгиня Ядвига хотели размножить по стране его сыновей, осыпали их милостями, а может, также, что францисканцы имели больше свободы, ходя по свету, чем доминиканцы, запертые в монастырских кельях.

Янич же предпочитал быть сыном Доминика, потому что письмо кое-как знал, жаждал знаний, а в них там больше нуждались.

Третий их товарищ, немец Лузман, который также там лежал с ранами, и как немец имел у княгини особенные милости, ни в чего не вмешивался, ел, пил, спал, в костёл ходил, где дремал в уголке, но мог рекомендоваться княгине. Монастырское пиво было ему по вкусу.

Павлик за короткое время приобрёл там себе много приятелей и знакомых. Не говоря уже о сестре Луции, которую постепенно притягивал на свою сторону, украдкой всегда навязываясь ей по несколько раз в день, влезал в избы хромых и калек, везде его было полно. С нищими он обходился по-свойски и самым большим для него удовольствием было подстрекать их против друг друга, в их склоки подливать масло и доводить до того, чтобы ссорились, грызлись и били друг друга. Только тогда, когда вызывал такой ужасный шум, сам смеясь, выскальзывал, и тихо просиживал в общей избе, словно не знал ни о чём.

Такая жизнь продолжалась до мая, стало быть, недели четыре. Павлик был уже совсем здоров, но ему ещё из Кросна в свет не хотелось.

Янич замечал, что он всё чаще выскальзывал из избы, больше проводил времени во дворах, бывал задумчивым и менее разговорчивым.

Одного дня он начал вздыхать, что ему уже нужно бы домой и только сильного коня для путешествия не хватает.

Конь, на котором приехал, хромал. Янич ему своего был готов отдать, чтобы от него отделаться, потому что своим легкомыслием и высмеиванием всего уже ему надоел.

Начались торговаться о деньгах, остановились, наконец, на согласованном количестве пражских грошей, которые Павлик обещал заплатить. Но, получив коня, выезжать снова ему было не к спеху. Откладывал.

– Отец мой, – говорил Янич капеллану Лютольд, – вы не спускайте глаз с этого проклятого молокососа. Он святого места уважать не умеет и за девушками, по-видимому, волочит. Как бы беды не было.

Ксендз сильно возмутился.

– Что за мысль! – воскликнул он. – А здесь набожные женщины, посвящённые Богу, монастырь всё-таки, в котором дух нашей княгини оживляет всех...

Янич смолчал и уже больше говорить о том не решался.

Одного вечера Павлика долго в избе не было, а дело было к ночи. Янич услышал в монастыре какой-то шорох и беготню.

Вбежал кто-то из челяди, оглядел углы и выбежал.

Через какое-то время прибежал капеллан Лютольд с заломленными руками к Яничу, задыхаясь.

– Где этот ваш Павлик?

– Разве я знаю?

Ксендз ударил по голове и как можно живей выбежал назад из избы. Янич не мог догадаться, что произошло. Лузман, который после пива уже спал, разбуженный, пошёл на разведку.

Вернулся не скоро, хмурый, пожимая плечами, крутя головой. Янич узнал от него, что Павлик похитил коня, но и сестры Луции в монастыре не было. Догадались, что он украл девушку и увёз с собой.

За ними уже во все стороны разослали погоню. Слушал ошеломлённый Янич, потому что у него такое нахальство не могло поместиться в голове. В час, в который обычно все спали, было ещё сильное движение, страшное беспокойство.

Люди возвращались из напрасной погони, о беглецах ни следа, ни слуха. Только после полуночи что-то у калитки зашумело. Посланный Клибек, придворный княгини Ядвиги, с челядью, привёл связанного Павлика, но был ранен, порезан, потому что тот яростно защищался.

Взяли и сестру Луцию, которая клялась, что своевольный парень похитил её без её воли, завязав ей уста, и со своей добычей помчался голопом в лес.

Связанного, как стоял, посадили виновника в тюрьму. Его могло ждать суровое наказание, потому что княгиня подобные нападения не привыкла прощать. Люди не могли надивиться дерзости и ловкости, с какими оно было совершено. Все согласно говорили, что за это он должен поплатиться жизнью.

Назавтра, когда как раз надеялись услышать что-нибудь о суде и приговоре, пришёл к Яничу Лузман, сплюнул и сказал:

– Вот его уж нет!

– Что? Дали его казнить? – крикнул Янич. – А исповедался?

Немец взмахнул рукой.

– Он сбежал ночью из тюрьмы, негодай, уж его не велели преследовать. Где-нибудь в лесу пропадёт, потому что вроде бы вырвался без оружия.

В Пжеманкове у ложа старого Яздона сидел ксендз Зула, чудом выбравшийся из Лигницы; он рассказывал ему плачевную историю татарского нападения, когда дверь отворилась – и кто-то встал на пороге.

Сначала Зула не мог узнать, кто был, потому что пришелец выглядел страшно оборванным. Только приблизившись к нему, он радостно вскрикнул, узнав, что тот, которого считали погибшим, стоит перед ним живой.

В то же время произошло чудо, потому что старый Яздон, который столько лет не владел половиной тела, одним глазом ничего не видел, когда услышал о сыне и бросился, чтобы его обнять, поднял обе руки, открыл погасший глаз, встал на обе ноги.

Нюха и Муха, которые были готовы его поднять, испуганные этим зрелищем, с криком разбежались.

И была в доме радость великая, но короткая. Старый отец, которому Бог дал обеими руками обнять сына, той же ночью уснув, навеки закрыл глаза...

Великая радость вылечила его и убила...

Тогда несовершеннолетний юноша стал паном великих волостей и собственной воли. Зула, который остался при нём, молился, чтобы теперь, отпустив себе поводья, быстро не пропал.

Хотя своего воспитанника он очень любил, хотя ему там хорошо было и тихо, клеха после похорон старика едва мог несколько месяцев выдержать в Пжеманкове. Там начался сущий ад, из которого ни вырваться сразу не имел силы, ни равнодушно смотреть на то, что делалось. Достойный клеха долго с собой боролся, пока однажды, взяв под мышку агенду, несколько своих книг в руку, не вышел с палкой пешком из городка, и его уже больше там не видели, потому что вернулся в Краков в храм Св. Ендрея.

I

Прошло четверть века с описанных событий, и те, кто подростками помнили Доброе Поле под Лигницей, стали мужами, те, что были старцами при первом татарском потопе, давно в могилы пошли покоиться.

В канун святого Матфея, в тот год (1266) умер благочестивый краковский пастырь Прандота. Как благословенного уже при жизни, его почтили торжественным погребением. У могилы происходили чудеса.

После осиротения краковской столицы нужно было выбирать нового пастыря, и весь капитул собрался на совещание.

В не слишком обширной комнате, довольно тёмной, ещё прежде чем начались прения, из лиц присутствующих и фигур можно было понять, что знали заранее, что единодушного выбора не будет.

Были это по большей части духовные лица средних лет и пожилые, лица одних увядшие и бледные, других – круглые и сильно воспалённые, худые и полные – представляли два лагеря; тех, что вели духовную жизнь, забывая о теле, и тех, которые не жили его, заботу о душе оставляя на последний час.

Одним из тех, возле которых больше всего сосредотачивались с великими знаками уважения, был ксендз Якоб из Скажешова, старец уже очень преклонного возраста, небольшого роста, невзрачный, шуплый, низенький, с чёрными, но очень поредевшими волосами, скромный и боязливый.

Был он и деканом Краковским, и схоластиком Бамбергским, и каноником Вроцлавским и папским, и капелланом чешского короля. Учёный законник, человек набожный, имел он у людей славу и уважение, и в капитуле преобладающий голос. Тот стоял молча, нахмуренный, с поникшей головой, грустный, а забрасываемым его вопросами отвечал довольно равнодушными движениями, как бы сомневался, что тут на что-нибудь может пригодиться.

Ксендз Герард, Вислицкий пробоц, принадлежащий к румяным, магистр Шчепан, муж полный, высокий и сильный, каноник Вышон, на округлом лице которого буйно цвело здоровье, сбоку между собой потихоньку разговаривали.

Другие ксендзы также собирались в кучки и шептались. В капитуле уже чувствовалось беспокойство, хотя ещё не сели.

Наконец прочитали молитву Святому Духу и все, заняв места, ждали, пока кто-нибудь отзовется первым.

По глазам было видно, что поглядывали на ксендза Якоба из Скажешова, как на самого старшего по возрасту, превосходящего по сану. Поэтому, когда тот и этот слегка упомянули, старичок, словно принуждённый, отозвался слабым голосом:

– Милые братья! Вы зывали к Святому Духу, пусть же Он вас вдохновит. Костёлу нужны такие люди, каким был святой памяти, благословенный при жизни Прандота и предшественники его, великие защитники костёла, великие опекуны родины. Выберите сильного мужа, такого нам на наше время нужно.

– Вас бы выбрать! – прервал его один из бледных. – Более достойного у нас нет, более набожным никто быть не может, и более ревностным за веру.

Старичок поднял руку и не дал ему закончить.

– Это бремя не для моих плеч, о могиле думаю, не об инфуле...

Резкое движение дрожащей руки и головы dokonчили, чего ксендз Якоб сказать не хотел. Решительно отказался от выбора. Румяно выглядящие каноники весело посмотрели друг на друга, давая между собой знак согласия. Усмехались.

Магистр Шчепан, тот важный муж, тучный, весёлый, светлого лица, добавил:

– Нам нужен пастырь в полном рассвете сил, закалённый в серьёзной битве. Костёлу отовсюду угрожают князья даже якобы очень набожные, как тот наш пан Болеслав. Нужно нам в столицу солдата! Солдата!

– Лишь бы Божьим меченосцем был, – ответил один из бледных с ударением. И многозначительно покашлял.

– Если мы должны голосовать, а мнения различные, – вставил каноник Вишон, – поговорим сначала открыто...

– Да! Да! Открыто! – потдакивал ему другой.

– Поэтому, – прервал громко Стефан, – я моё вношу, и со многими другими братьями. Есть муж великого духа. По правде говоря, он не рукоположен, но это получит, когда на него падёт выбор. За Павла из Пжеманкова голосуем. Пан он сильный, голова открытая, муж железный.

Послышался ропот, который можно было объяснить по-разному. Все бледные и высохшие каноники встали как один муж. Каноник Янко с огненными глазами, аскетичного лица, нетерпеливо ударил рукой о лавку.

– Никогда на свете не согласимся на него. Хотите привести в овчарню волка! Бесславный человек, на солдата был бы более годен, чем на епископа, телесным похотям отвратительно поддаётся, мало знакомый с нашими костёльными законами.

Человек, скажу смело, испорченный и недостойный...

Поднялся шум, говорящего перекричали.

– Это ложь! Голоса неприятелей этого достойного мужа!

Человек, сильного духа и руки... Мы за него! Мы за него!

– А мы против него! – отпаривали не менее запальчиво другие.

– Вы, пожалуй, не знаете, – кричал, пытаясь дать услышать себя, каноник Янко, – какую он вёл жизнь, сколько совершил насилия, сколько посеял горя. Это человек, которому наше облачение не подобает. Пусть Бог убережёт нас от такого пастыря.

Румяные и упитанные зашумели так, что заглушили дальнейшую речь каноника. На лавках и сидениях поднялось лихорадочное движение, магистр Шчепан воскликнул:

– Этот или никто! Этот или никто! Когда ксендз Якоб не хочет, выберем Павла!

– Смилуйтесь, слепые люди! – крикнул с усилием Янко. – Вы бросаете костёлу пятно на его белое одеяние!

Он сложил руки как для молитвы.

– Пане! Отвратите от нас этот позор и катастрофу!

– Павла из Пжеманкова епископом! – кричали полные. – Значительная часть капитула за него!

– Пожалуй, потому, что он вас кормил и поил, приехав сюда специально, что вы чрезмерно пользовались его радушием, – воскликнул бледный ксендз Янко. – Обратите внимание на ваши души, не продавайте костёла за тарелку чечевицы!

Румяные и упитанные заглушили его издевательским смехом.

– Нам тут не святош нужно, но храбрых, как тот человек! – кричали, возвышая голоса.

– Он неуч! – прерывали.

– Что? Неуч? – подхватил ксендз Шчепан. – Он, ничего не умея, больше выдумает и угадает, чем все, что над пергаменами и бумагами зубы съели. Быстрый ум, горячее сердце.

Пойдёт он горой, а с ним наше епископство и права, и доходы.

– Никогда на свете распутными привычками испачканного насильника мы не допустим в столицу, – сказал ксендз тихо. – Полкапитула протест принесёт! Мы пойдём в Рим! Не допустим его! Схизма будет...

Сильно возмущались, каноники разделились на два враждующих лагеря, крики *за и против* вырывались одинаково пылко, поднялись замешательство и шум. Бросались с мест на середину, а корифеи обеих партий начали горячо друг с другом спорить.

Ксендз Якоб из Скажешова сидел на своём месте с головой, опущенной к земле, на лице его рисовалась боль и пронимающая грусть. В спор, однако, деятельно вмешиваться не хотел.

Забыли почти о старце, а он, погружённый в мысли, может также не думал о капитуляции.

Не было ни малейшей надежды, чтобы пришли к согласию.

В конце концов все устали от напрасного спора; полные вытирали пот с лица, у бледных пересыхали уста. Сопение закончилось решительным разделением на две несогласные партии, которые объявили друг другу войну.

Тем временем подошла ночь, капитул рассеялся, разгорячённый. В его лоне готовилась гражданская война.

Когда одни спешно оттуда выходили, ещё громко между собой разговаривая в сенях и во дворе, всё смелее и злобней, ксендз Якоб остался на своей лавке, только надев на голову шапочку. Его возраст, ум, опыт делали его терпимым ко всем человеческим слабостям. Что других раздражало, то для него было объяснимым. Жалел их только.

Глядел на выходящих, сам уже медленно готовясь к выходу, когда увидел стоящего перед ним каноника Янко, с головой, опущенной на грудь, руками, скрещёнными на груди. Его брови были стянуты и уста закушены. Был то муж суровый, неустрашимого духа.

– Плохо делаете, – обратился он открыто к старичку. – Простите меня, что так дерзко к вам обращаюсь! Вы плохо делаете, отказываясь от митры! Она вам принадлежала.

А вы ещё ей более потребны, чем она вам. Хотя бы для того следовало вытянуть за ней руку, чтобы её не схватил кто-нибудь другой – недостойный.

И один кулак он грозно поднял вверх.

– Он половину капитула напоил, накормил, другую обманывает обещаниями. Этот человек всех ввёл в заблуждение, он будет нам позором! Павел из Пжеманкова! Епископом! – добавил он иронично. – Тогда бы также за Люцифера и Вельзевула голосовать могли! Отец Якоб! Помогите! Пока есть время!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.